

СИБИРИАДА

АЛЕКСАНДР
БОРЩАГОВСКИЙ



РУССКИЙ ФЛАГ

Сибиряда

Александр Борщаговский

Русский флаг

«ВЕЧЕ»

Борщаговский А. М.

Русский флаг / А. М. Борщаговский — «ВЕЧЕ», — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7699-0

Роман выдающегося русского писателя Александра Борщаговского рассказывает о мужественной борьбе горстки защитников Камчатки против объединенной англо-французской эскадры и ее десанта в годы войны (1853—1856), с документальной точностью и достоверностью описывая героизм военных моряков парусной «Авроры», русских поселенцев, казаков и коренных жителей Камчатки.

ISBN 978-5-4484-7699-0

© Борщаговский А. М.

© ВЕЧЕ

Содержание

Книга первая	5
На чужом рейде	5
I	5
II	8
III	11
IV	21
Забывтый край	26
I	26
II	28
III	31
IV	37
V	42
Первый удар	48
I	48
II	51
III	53
IV	57
V	59
VI	65
VII	67
Будни	69
I	69
II	70
III	76
IV	78
Цинга	85
I	85
II	90
III	93
IV	95
Тревога	99
I	99
II	102
III	104
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Александр Борщаговский

Русский флаг

Книга первая

На чужом рейде

I

Капитан-лейтенант Изыльметьев стоял у борта фрегата «Аврора» и оглядывал притихший рейд.

Окончился еще один трудовой день, проведенный здесь, в порту Кальяо, вблизи перуанской столицы Лимы. В эти апрельские дни 1854 года на берегу свирепствовала желтая лихорадка, но суда на рейде, несмотря на частые санитарные кордоны, беспрестанно осаждались туземцами, агентами отелей, прачечных и торговых домов. Фрегатский медик Вильчковский дотемна метался по палубе, от борта к борту, и отпугивал лодочников энергичной жестикуляцией. Перуанцы в шляпках и остроносых пирогах, наполненных лимонами, сушеными фруктами, огородной зеленью, останавливались неподалеку от «Авроры» и, завидев офицера или матроса у борта, кричали что-то протяжными голосами.

Русский корабль в здешних местах – нечастый гость. Суда Российско-Американской компании редко заходят южнее Калифорнии, тут они иногда запасаются продуктами для жителей русской Аляски и компанейских служащих в Ситхе. Военные же корабли и транспорты из Кронштадта предпочитают путь вокруг мыса Доброй Надежды, через Индийский океан, вдоль живописных и богатых островных архипелагов западной части Тихого океана. Вот почему появление в порту русского фрегата сразу привлекло всеобщее внимание.

Торговых агентов ничем не запугаешь. Они обходили кордоны, проскальзывали между пирогами зеленщиков и пытались пришвартоваться к «Авроре». Может быть, фрегат так настойчиво осаждали еще и потому, что он стал мористее других судов у острова Сан-Лоренцо.

Коммерческие суда, с тонкоствольным лесом мачт, с убраным такелажем, и военные корабли других держав стояли на внутреннем рейде, ближе к берегу. Вон там винтовой фрегат Перу, корвет Чилийской республики; неподалеку от него новенький, белеющий в темноте корвет Соединенных Американских Штатов; затем английские, французские суда, крупные фрегаты под контр-адмиральскими флагами – «Президент» и «Форт».

В этих широтах вечер наступает внезапно. Темнота падает разом, приглушая звуки и скрывая утомительно яркие краски.

Опершись усталыми руками о борт фрегата, Иван Николаевич Изыльметьев ловил доносившиеся из темноты обрывки чужой речи, грустные песни берега и всматривался в едва различимые силуэты военных судов. Чувство досады, возникшее в ту минуту, когда он, придя в Кальяо, обнаружил на рейде англо-французскую эскадру, давно прошло. Остались настороженность и напряжение в предчувствии неизбежной и неравной борьбы.

Но действовал он правильно, приведя сюда «Аврору» после изнурительного перехода вокруг мыса Горн. Он выбрал этот порт потому, что английские суда заходят в Кальяо значительно реже, чем в Вальпараисо, что хорошо известно каждому, кто следит за лоциями и морскими журналами. И не его вина, если с каждым годом становится все труднее избежать

встречи с английскими кораблями. Англичане завладели всеми портами и проливами, всюду суют нос, везде пытаются навязать свой распорядок, свою волю.

Из Портсмута Изильметьев попал прямо в Рио-де-Жанейро, и, право же, придя туда, можно было усомниться, чей это порт – бразильский или английский. А теперь вот Кальяо – желтая полоса прибрежных песков, сухой, встающий за песками хребет Анд, зной, несчастная желтая лихорадка, завезенная из Панама, и на рейде англо-французская эскадра в полной боевой готовности.

Кроме парусных судов европейских держав тут недавно стоял еще английский пароход «Вираго». Вчера, едва сошел утренний туман, он взял курс на север, в направлении Панама. Зачем контр-адмирал Дэвис Прайс, флаг которого развевается на «Президенте», отослал «Вираго»? За инструкциями, важными депешами или за подкреплением? И не встретит ли «Аврора» в океане, если ей доведется мирно уйти отсюда, «Вираго» в сопровождении нескольких английских судов? Вероятно, англичане хотят соблюсти приличия: напасть на «Аврору» здесь, в виду перуанской столицы, неудобно – ведь официального сообщения о разрыве между великими державами еще нет. Воюют пока только Россия и Турция. Другое дело в океане – там можно захватить фрегат, и огласки не будет, пока не начнется война.

Мерцают огни на гафелях судов, все отчетливее выделяясь в сгущающейся темноте. На палубе приглушенные голоса работающих матросов, сиплое, недовольное ворчание боцмана Жильцова, шныряющего по всем закоулкам фрегата. В кают-компаниях играют на фортепьяно. Вот вступает высокий мужской голос, и мелодия Глинки льется с «Авроры» вверх, к иссиня-черному южному небу...

Поет Виталий Вильчковский, только что отгонявший перуанцев от «Авроры». Удивительно, как меняет его музыка. Красное, рыхловатое лицо уже не кажется грубым, лохматые брови сходятся над переносицей, глаза под стеклами очков закрыты, и, экспансивный обычно, порывистый, он тихо покачивается в такт музыке.

У каждого, кто впервые попадает в кают-компанию «Авроры», вызовет улыбку контраст между доктором и его неизменным аккомпаниатором, лейтенантом Максutowым. Александр Максutow, воспитанник Морского корпуса, один из образованнейших молодых офицеров флота, даже сидя за фортепьяно, не менял холодно-надменного выражения лица. Он играл свободно, и, однако, недовольная гримаса словно говорила о том, что делает он это нехотя, уступая настойчивости товарищей. Смуглое продолговатое лицо насмешника, обрамленное жидкими темно-каштановыми баками, оставалось невозмутимым, хотя тонкие пальцы бегали по клавишам все быстрее. Если бы доктор вдруг взглянул на Александра Максutowа, на прищуренные глаза, из которых смотрели неподвижные, равнодушные зрачки, на капризно выпяченные губы, слова романа, вероятно, застряли бы у него в горле.

Кто-то, мягко ступая, подошел и остановился подле капитана. В тусклом свете фонаря Изильметьев узнал по забавному, мальчишескому профилю мичмана Пастухова. Хороший будет офицер! Он выделился за эти несколько месяцев исключительно трудного похода. И теперь, на стоянке в Кальяо, когда на фрегате с рассвета до наступления темноты идут ремонтные работы и мелкий, кропотливый труд требует столько внимания и усилий, он всюду поспевает. «Вероятно, привык к труду с детства», – подумал Изильметьев и окликнул:

– Константин Георгиевич!

Мичман отозвался:

– Простите, я вам помешал? – под русыми усиками, кажется, скользнула виноватая улыбка.

– Пустое! – пробасил Изильметьев и заметил: – Хорошо поет доктор!

Пастухов вслушался. В памяти ожил гранитный Кронштадт, озабоченное лицо матери, и на сердце по-юному стало грустно и тепло.

– Хорошо-о-о! – повторил капитан. Он помолчал немного, побарабанил пальцами по борту и сказал: – Вот стою здесь, Константин Георгиевич, и размышляю над превратностями судьбы. Спешили в перуанскую глушь, а оказались на людном проспекте. Тут и англичанин, и француз, и еще двенадцать языков. В Черном море англичанин, может быть, теперь из пушек палит, а у нас здесь визиты да учтивости... А?

В сумраке блеснули глаза Пастухова.

– Вы говорите, Иван Николаевич, об учтивости. Но я, простите, никогда не ждал встретить в просвещенных европейцах столько жестокости и коварства. Сегодня марсовый Климов съезжал на берег за лимонами и видел, как матросы с «Президента» облили кипятком туземцев, приблизившихся к фрегату... – Голос сорвался от напряжения, и мичман, волнуясь, закончил: – Этого нельзя так оставить... Мы должны сообщить здешнему консулу.

– Вы уверены, что это было сделано по приказу офицера?

– Матрос на такое сам не решится, – убежденно сказал Пастухов.

Изыльметьев посмотрел в открытое лицо мичмана, слабо освещенное фонарем. Сколько располагающей доброты и простодушия разлито во всех чертах этого некрасивого лица! Крупный, вздернутый и чуть сдвинутый влево нос, на загорелом лице белые бровки, полоска русых усов, большой рот, расплывающийся при улыбке к ушам, и серые смеющиеся глаза. Скорый на суждения Александр Максудов как-то отозвался о Пастухове: «Деревенщина». Это было в кают-компании. Иван Николаевич тогда промолчал, хотя и знал, что Пастухов коренной петербуржец. Изыльметьев в ту пору только начинал присматриваться к своим офицерам.

– Вы правы, мичман! – сказал он. – Но к консулу мы не пойдем. Служба этих господ в том и состоит, чтобы учтиво выслушать, пообещать, а затем надуть. Вас ждет еще всякое, Константин Георгиевич, – усмехнулся Изыльметьев и, помолчав, проговорил: – И трудно и горько будет... Русская натура – она ведь широкая, какая-то не форменная, не ложится она в артикул. Вот подите же, Вильчковский доктор, а какой музыкант, как поет! Сойдитесь с ним поближе, узнайте его, – оказывается, он и астрономию понимает, в юности штудировал философов в оригиналах, а теперь книгу о лекарственных травах пишет. Каково! Сам прирос к кораблю, как моллюск, а пишет о травах! Значит, мечта в нем сильнее расчета... И вы, верно, планы строите самые решительные?

– Я о баталии мечтаю, Иван Николаевич. Боюсь, что мы так и останемся в стороне.

– Где уж тут остаться! – Изыльметьев показал на огни судов, полукольцом охватившие рейд. – Смотрите, как обложили... Стерегут. Баталий и на нашу долю достанется. – Капитан насупленно смотрел в темноту. Десять вымпелов – не шутка! Унести бы ноги, батенька, – сказал он, положив руку на плечо Пастухова. – Не думали ли вы над тем, куда адмирал Прайс отправил пароход «Вилаго»?

Ощущая на плече руку Изыльметьева, Пастухов испытывал смешанное чувство довольства и стесненности. В то же время он думал, что капитан стареет, – человек, проплававший больше двадцати лет, обойденный чинами и орденами, невольно становится осторожным: бой – это риск, а рисковать любит молодость. Вопрос капитана застал мичмана врасплох, и он неуверенно ответил:

– Не могу знать, Иван Николаевич!

Изыльметьев засмеялся.

– Эх вы!.. «Не могу знать»... Надобно знать! Все надобно знать, мичман, – сказал он. – Пойдемте-ка к офицерам, послушаем, о чем там шумят фрегатские мудрецы. Баталии у них, что ни вечер, жаркие...

Изыльметьев пересек палубу, загроможденную свернутыми канатами, запасной парусиной, окинул взглядом занятых ремонтом матросов и спустился по трапу к дверям кают-компании.

Пастухов молча последовал за ним.

II

В кают-компании разгорелся спор об исходе войны с Турцией и о возможных событиях в Европе. Расстегнув мундиры и дымя трубка, офицеры спорили с Александром Максutowым. Оседлав стул и положив узкий подбородок на руки, Максutow сидел спиной к фортепьяно и отвечал противникам то короткими репликами, то ироническими восклицаниями, гримасничая и раздувая подвижные ноздри.

– Вздор! – бросил он Дмитрию Максutowу, стоящему рядом. – Ты превосходно понимаешь, дружок, что говоришь вздор.

– Доказательства! Ты докажи, что вздор!

Полный, подвижный Дмитрий напоминал Александра каким-то далеким родовым сходством, при разительном контрасте каждой черты в отдельности. Он терял терпение, краснел и часто вытирал платком потное лицо.

На фрегате Дмитрия и Александра считают родными братьями: оба они Максutowы и оба Петровичи. В действительности же Дмитрий, троюродный брат Александра, осиротел в раннем детстве, был взят в дом князя Петра Кирилловича Максutowа и усыновлен.

– Доказательства?.. – Александр подумал и невозмутимо ответил: – Истину подтверждает время.

– Почему ты решил, что истина в родстве с тобой? – не отставал Дмитрий.

– Не горячитесь, Дмитрий, – вмешался в спор Вильчковский. – Если истина – сестра Александра, она, следовательно, и ваша сестра.

Но Дмитрий не принял шутки:

– Будет вам, доктор! Пусть Александр скажет: почему он считает, что Англия ничем нам не угрожает?

– Англия – цивилизованная страна, – упрямо твердил Александр, освободив правую руку и играя золотой цепочкой часов. – Что англичанам турки, ислам, восточные страсти?.. Англичане попросту привыкли командовать, покрикивать на всех – и только. Пошумят и перестанут.

В углу закряхтел, заколыхавшись грузным телом, втиснутым в кресло, фрегатский священник иеромонах Иона. Очнувшись от дремоты, он обвел офицеров ленивым взглядом и, убежденный в том, что христианский мир пребудет в полном благополучии, пока удача и доброе здоровье не оставят его самого, повел речь на заученной проповеднической интонации:

– Вероотступники будут прокляты господом богом! Разрушить крест замыслили они, спасти богопротивный, издыхающий исламизм!

Прислушиваясь к словам Ионы, Дмитрий наблюдал за выражением лица брата. Александр тихо сказал:

– Поздравляю! Вот твой союзник и та аргументация, к которой ты неизбежно придешь.

– Ошибаешься, Александр. – Дмитрий сердито повернулся к иеромонаху: Отец Иона, поймите же наконец, что дело не в коране и не в исламе. Англия – страна спокойная, холодная. Для нее война – вопрос торговой выгоды. Господа, вспомните Портсмут, Лондон, вспомните молчаливых джентльменов в черном, самодовольных купцов, – неужели вы думаете, что эти люди захотят пожертвовать хоть одним пенсом ради самого Магомета?!

– Верно, Дмитрий! – поддержал его Евграф Анкудинов, молодцеватый прапорщик корпуса флотских штурманов, усы которого торчали, как два каменных завитка на капители.

Но Дмитрия бесили насмешливые глаза Александра.

– Назови меня практическим философом, циником – я не отступлю ни на шаг от истины. «Цивилизация»! «Честная Англия»! Да будет тебе... Она полмира ограбила, твоя честная, цивилизованная Англия...

– Ты – само преувеличение, Дмитрий! – снисходительно улыбнулся Александр.

– Хочешь точного счета? Изволь... Не Англия ли отняла Гибралтар у Испании, Мадрас у Франции? Не она ли, приставив пистолет к виску китайцев и завладев их портами, обирает до нитки несчастный народ? Не Англия ли алчно поглядывает на Кавказ и Амур?! – Дмитрий обвел торжествующим взглядом кают-компанию. – А Сцихеллы, которыми прежде владела Португалия? А неисчислимые земли Индийского океана?..

– Мыс Доброй Надежды, – вставил Анкудинов.

Ободренный поддержкой, Дмитрий продолжал:

– Уже не только туземцы, но и голландские колонисты, единоверные европейцы, загнаны в глубь Африки. Да что говорить!.. А Египет, Кандия! Разве не рвет их Англия из рук издыхающей Оттоманской империи, которую она лицемерно вознамерилась ныне защитить?!

– Тем более, Дмитрий. Такую добычу переварить надобно. Англии незачем затевать новую войну.

– А Румелия? – Дмитрий выразительно хлопнул себя по карману. – Почему не заполучить ее? Отчего не прикарманить Константинополь, если обстоятельства позволят? Торговые кассы Англии бездонны. Она отнимает древние владения у индийских князей и делает их приказчиками английских купцов. Она запрещает землепашцу сеять рис и хлеб, заменяя их маком, чтобы усыпить, отравить опиумом многолюдный Китай, повергнуть людей в скотообразное состояние. – Дмитрий распахнул мундир, словно ему стало душно. – Англия растрawляет честолюбие императора Франции, этого, как ты сам говоришь, *ragvenu*¹, и толкает его на войну с Россией. Измена, подкуп, вероломный удар в спину – излюбленные средства господ с Темзы. Вспомните Портсмут, низкую провокацию, в которой были замешаны печать, политические мужи Англии и даже имя королевы Виктории...

Дмитрий был в ударе. Он чувствовал, что офицеры на его стороне в давнем, начавшемся еще в Портсмуте споре.

Но Александр не сдавался и на этот раз. Спор отвечал его внутренней потребности противоречить людям, испытывать их терпение, злить, наблюдать, как они теряют самообладание, сбиваются с мысли или отступают перед его холодными софизмами.

Изыльметьев и Пастухов только что вошли в кают-компанию и остановились в тени, которую отбрасывала фигура Дмитрия Максудова.

– Что ж, господа, – упорствовал Александр, – портсмутская история говорит против ваших аргументов. Кто-то в Портсмуте попытался сманить наших матросов, но стоило проявить известную твердость – и нас оставили в покое. Вместо того чтобы палить из орудий в «Аврору», англичане салютовали нам. Куда как храбро! Зачем же мы летим сюда сломя голову? Зачем испытываем судьбу и ни в чем не повинную «Аврору»? Какие привидения гонятся за нашим капитаном?

– Вы заблуждаетесь, лейтенант, – жестко возразил Изыльметьев, выступив вперед.

Все, кроме Ионы, вскочили со своих мест.

– Садитесь, господа.

Изыльметьев был выше, массивнее собравшихся тут офицеров. Орлиный взгляд светлых, близко сходящихся глаз, тяжелая складка, падающая с большого, ровного лба на переносицу, резко обозначенные черты скуластого лица и, наконец, усы, по-крестьянски свисающие немного вниз, – все это родило капитана с широко распространенным на юге России типом степняка-хлебороба.

– Вы неправы, – продолжал Изыльметьев, ощупывая суровым взглядом гибкую фигуру Александра. – Ни разу за эти месяцы мы не поддавались панике, не страшились привидений за своей спиной. Я не замечал подобного, господа офицеры. Мы не испугались огня портсмут-

¹ Выскочка.

ских фортов, но, господа, у англичан есть пушки, и мы должны о них думать. На вас ведь не партикулярное платье... Да-с, мы спешим, именно спешим, пересекая полмира, чтобы не стать мишенью и упредить тех, кому ненавистен наш флаг...

Александр Максutow не садился. Глядя в сторону, он ответил высоким от волнения голосом:

– Господин капитан! Более недели находимся мы на рейде, бок о бок с теми, кого намеревались упредить. – Он нарочито употребил не любимое им слово «упредить», только что произнесенное капитаном. – И что же? Ни пальбы, ни абордажа, ни ультиматумов. Одни любезности французов, визиты да деликатное обхождение...

– Напрасно ты принимаешь это за чистую монету! – воскликнул высокий худощавый юноша, мичман Михайлов.

– Нет! Я знаю цену им. Но в Де-Кастри, куда идем мы, известие о войне придет слишком поздно. Россия победит без нас... – Александр наконец решил взглянуть на Изыльметьева. – Может статься, что «Аврора» вернется в Кронштадт, сохранив по пятидесяти картузов пороха на орудие. – Лицо его искривилось привычной иронической улыбкой: – Разве что на учениях израсходуем немного.

Изыльметьев теперь с любопытством разглядывал лейтенанта.

Александр Максutow – единственный офицер фрегата, который сторонится капитана, не ищет сближения с ним. «Что за странности? – думал Изыльметьев. – Как могли под одним кровом вырасти и воспитаться такие не похожие друг на друга люди?» А Александр и Дмитрий не только росли вместе, они вместе обучались в Морском корпусе, – честолюбивый Александр отстал от Дмитрия с производством в мичманы всего на несколько месяцев. Но люди совсем разные. Один – живой и общительный, другой – желчный, иронический, порою несносный педант и ментор. Старший – душа нараспашку, гусарская вольница; младший – безупречный офицер, подтянутый, строгий. Дмитрий склонен забывать о дистанции, отделяющей его от матросов; у Александра эта дистанция в холодном взгляде, в резкости тона, в сухости, с которой он разговаривает с нижними чинами. Дмитрий – поэтическая натура, песенник; Александр – искусный, но холодный музыкант.

Изыльметьев вспомнил, как офицеры приняли известие о разгроме турецкого флота в Синопе, привезенное голландским купцом из Европы, когда «Аврора» стояла в Рио-де-Жанейро. Капитан давно не видел таких сияющих лиц.

Фрегат салютовал героям Синопа, всполошив многолюдный бразильский порт. Только Александр Максutow стоял бледный, упрямо сжав большие губы. И, может быть, впервые за все месяцы похода он простосердечно сказал Изыльметьеву:

«Я хотел бы находиться там. Как горько покидать Россию в такой час! Ведь можно и посидеть, не понюхав пороха и не выполнив своего предназначения».

Тогда Изыльметьев ответил ему просто, с неожиданной для их отношений душевностью:

«Взгляните на меня: я седой солдат, не нюхавший пороха. Я люблю Россию и готов пролить за нее кровь. Но предназначение солдата – свято исполнять свой долг. Другого пути нет. И не нужно отчаиваться, – может быть, добрая судьба и подарит нас битвой, которой будут завидовать поколения моряков».

Пока длилось молчание и офицеры ждали, что скажет капитан, Пастухов сочувственно смотрел на Александра:

«Конечно же, черт возьми, как не понять этого! Поворотить бы “Аврору” и мчаться в Европу, через Атлантику, пройти Гибралтар, грозящий миру английскими батареями, проскользнуть под покровом ночи через Дарданеллы и сказать героям-черноморцам: “Здравствуйте! Мы пришли к вам! Мы с вами наперекор всему!” Эх, стар наш капитан!»

Случайно взглянув на Пастухова, Изыльметьев понял, что и мичман разделяет настроения Максutowа.

– Спокойной ночи, господа! – проговорил вдруг Изыльметьев, ссутулясь. – Завтра предстоит тяжелый день. Ремонт надобно ускорить, промедление смерти подобно. Завтра – визит вежливости на английский флагман. – Он усмехнулся: – Прайс зовет чаю откушать и посудачить. Со мною поедут Анкудинов, Максutow Александр – вы, Александр Петрович, надеюсь поразите их своим изысканным произношением более, чем «Аврора» пушками, еще отец Иона (фрегатский священник прикрыл рукой сладкий зевок) и мичман Пастухов. Спокойной ночи!

III

Наблюдая подозрительную активность английского флота у берегов Южной Америки, Изыльметьев не раз мысленно возвращался к происшествию в Портсмуте.

Оно отмечено не только в мореходном журнале «Авроры», но и в дневниках молодых офицеров, новичков в заграничном плавании. Что ж, такое нечасто случается в жизни моряка.

Изыльметьев не был достаточно изоциренным политиком, чтобы постичь истинные цели британских морских властей в портсмутской провокации.

Сын морского артиллерийского офицера, он тринадцатилетним подростком поступил в Морской корпус, в тот год, когда вершился суд над героями 14 декабря.

Тень пяти виселиц пала на Петербург.

Настало лето 1826 года, но декабрьская стужа надолго сковала Россию. Сотни людей ждали приговора. Многие из них были флотскими офицерами, и в доме Изыльметьевых часто с теплом и волнением вспоминали этих отважных людей.

Леденящий взгляд Николая I обратился к Морскому корпусу, и в корпусе все подчинили воинскому артикулу, шаблону, муштре. Изыльметьеву не раз доводилось наблюдать на смотрах и торжественных церемониях огромную, точно в корсет затянутую фигуру императора. Но запомнился он ему по первой юношеской встрече, взбешенный, с ноздрями, раздувавшимися от ярости.

Был сентябрь 1830 года. Изыльметьев числился уже в гардемаринской роте, после окончания основного курса Морского корпуса. Кадеты корпуса принесли жалобу начальству на плохую пищу. Жалобу оставили без внимания, и более того – рацион с каждым днем стал уменьшаться, словно будущих мореходов приучали к голодному режиму. Однажды воспитанники старших классов встретили в столовой своего унтер-офицера топотом ног и отказались от обеда. Изыльметьев стоял у окна, рядом со своим другом по корпусу гардемаринном Большовым, когда позеленевший от злости унтер с выпученными глазами и вздыбленными, точно медными усами промчался по столовой донести о происшествии начальству.

На следующий день кадетов собрали в общий зал. Опустив седую голову, торопливо пересек зал начальник корпуса Крузенштерн. Дробно бил барабан за стеной, и казалось, что седовласый моряк, имя которого было известно всему миру, проходит сквозь строй кадетов, навстречу позору и казни. Мог ли он рассчитывать на снисхождение императора, если брат Николая, великий князь Михаил Павлович, не постеснялся сказать однажды на смотре сбившемуся с ноги Крузенштерну – нарочито издевательски: «Странно! Крузенштерн кругом света обошел, а вокруг манежа не умеет!»

Едва кадеты успели построиться, как в дверях показался Николай. Чеканя шаг, он двинулся прямо к гардемаринской роте.

«Унтер вернулся! – мелькнула озорная мысль у Изыльметьева. – Наш глазастый унтер с пучком розог в руке!»

Царь вплотную подошел к шеренге и впился водянистыми глазами в лица ближайших к нему кадетов.

– Подлецы! – закричал он, раздувая ноздри.

Шеренги замерли, затаив дыхание.

– Бунтовать вздумали?! – Николай только входил в раж и скандировал каждый слог. – Я вас научу повиновению! Я напому вам разницу между Петербургом и мятежным Парижем! Или пример парижской черни вскружил вам дурацкие головы? Отечество печется о вас, а вы оплачиваете мне бунтами, заговором, якобинством! – Рука Николая поднялась, словно для удара, но стоявшие в первом ряду не шевельнулись. – Немедля выдать зачинщиков! – в испуге затопал он ногами. – Не то всех в солдаты! Кто зачинщики?

Молчание. Слышно, как втягивает воздух страдающий одышкой Крузенштерн. В углу взвизгнул и захныкал кто-то из первогодков.

Неожиданно из строя вышел Большов.

В первое мгновение Изыльметьев хотел схватить друга за рукав, оттащить назад. Но было уже поздно.

– Я зачинщик! – спокойно сказал Большов. Только меловая белизна лица и неожиданно обострившиеся скулы выдавали его волнение.

Николай приказал сослать Большова на флот простым матросом и высечь при всех воспитанниках корпуса. Затем, круто повернувшись на каблуках, он прошел через зал и, так же чеканя шаг, скрылся, даже не кивнув Крузенштерну.

Жертва Большова оказалась бесцельной. Через три недели после происшествия из гардемаринской роты отчислили шесть—десять человек, более ее половины. Их послали в полки рядовыми. Нескольких «счастливчиков» произвели в унтер-офицеры и направили на Кавказ, в гарнизоны, где их ждала почти верная смерть.

В корпусе Изыльметьева прозвали «татаринном» за скуластое, обветренное лицо с чуть раскосыми глазами и за странную фамилию. Лоска, светскости в нем и в помине не было, да и откуда бы им взяться: дом Изыльметьевых не отличался ни богатством, ни родовитостью.

Медленно продвигался Изыльметьев по службе, опережаемый сокурсниками и именинтой молодежью. Тендер «Лебедь», транспорты «Волга» и «Або» – вот те суда, которые вверялись ему долгое время. И только в 1849 году, через восемнадцать лет по выходе из Морского корпуса, капитан-лейтенанта Изыльметьева назначили командовать корветом «Князь Варшавский». Не жаловали его и орденами. Мундиры удачливых сверстников уже сверкали наградами, а его Адмиралтейство и двор одарили лишь Анной третьей степени. Штабные офицеры, «паркетные мореходы», как называл их Изыльметьев, насмешливо посматривали на седеющую голову капитана и на необъятную, почти лишенную знаков отличия грудь. «Туп, вероятно, – думали они. – Служака, прилежания отменного, а талантами бог обидел. К тому же зашибает и в языках безнадежен...»

Капитан транспорта «Або» Изыльметьев старался не попадаться на глаза преуспевающим офицерам, а встречаясь с ними, держался независимо и даже грубо. Он принадлежал к числу тех скромных талантливых русских натур, которые только и ждут трудного времени, чтобы подняться во всем величии своей души. Ждут, сами того не ведая и не тщаь показаться лучше и умнее окружающих.

Но придет ли это время?

Когда в Кронштадте стало известно, что «Аврора» пойдет вокруг света, но не с прежним командиром, Изыльметьев нахмурился.

– У нас всегда так, – говорил он, – хоть и хуже придумают, а непременно другого.

И вдруг пришло ошеломившее всех известие: командиром «Авроры» назначен Изыльметьев, притом ему даже дозволено лично избирать и офицеров и нижних чинов. Толкам и пересудам не было конца. А удивляться, в сущности, не следовало. Фрегату, старевшему и по корпусу и по вооружению, предстояла трудная задача, поэтому к исполнению был призван человек практический, отлично знающий морское дело.

В первом же крупном европейском порту Изыльметьеву действительно пришлось решать сложные задачи, которые не предусматривались ни программами корпусных занятий, ни опытом его многолетних плаваний в Балтике и Немецком море.

Случилось это в Англии.

Портсмут – обычная остановка русских судов для их осмотра и ремонта перед выходом в просторы Атлантики. «Аврора» пришла в Портсмут в ноябре 1853 года. Для экипажа фрегата, пока он чинился, портовые власти отвели старое английское судно «Викториус». Корпус «Авроры», заложенной на охтенских верфях в Петербурге и спущенной на воду еще в 1835 году, нуждался в основательном ремонте. Портсмутские склады и мастерские ломились от запасов корабельных материалов, их, кажется, хватило бы на все флоты мира, но для «Авроры» не находилось подчас даже куска парусного холста, каната или нескольких листов меди. Тягучей чередой шли дни, густые туманы накрывали «Аврору», и люди на «Викториусе» томились в ожидании того часа, когда свежий ветер разорвет туман и наполнит паруса готового к походу фрегата.

Офицеры часто съезжали на берег, ныряли в непроницаемый туман, бродили по грязным улицам Портсмута и возвращались на «Викториус» злые, раздраженные, с пачками газет, в которых каждый успех русских армий на Дунае вызывал поток бранных слов и клеветы.

Но если у офицеров «Авроры» все же были некоторые развлечения – поездки в Лондон, музеи, театры, встречи с офицерами русского корвета «Наварин», тоже стоявшего в здешних доках на ремонте, то матросов Изыльметьев на берег почти не пускал. В портовых городах Англии участились случаи холеры. К тому же выходки завсегдатаев портсмутских кабаков уже не раз приводили к дракам. Аврорцы не любили оставаться в долгу. Вмешивалась полиция.

Матросы работали на «Авроре», изредка ездили на склады, на якорный завод и, лишь рассеивался туман, глазели на путаницу домиков, сбегавших к самой воде, на темную полосу крепостной стены и белый дымок паровоза, увозившего желтые вагоны из Портсмута в Лондон.

Все же однажды в начале декабря Изыльметьев отпустил на берег пятерых бывалых матросов, на которых можно было положиться, и с ними еще первогодка марсового Мишу Климова. Он молча шагал рядом с матросом первой статьи Семеном Удалым, приглядываясь к портовой сутолоке. Еще у причалов за ними увязался какой-то плешивый старик. На ломаном русском языке он назвал себя служащим арсенала. Длинный, как вечерняя тень, неопрятный, он походил на спившегося человека, выброшенного за борт жизни.

Бомбардир Семен Удалой, признанный вожак фрегатских матросов, был уверен, что этот журавль, смешно запрокидывающий голову, раскиснет после первой же рюмки. Но он не раскис. Привел моряков в просторный кабак, разделанный под дуб, распорядился как хозяин и пил не хуже других. Непривычного к вину Мишу Климова мутило. Он сидел неестественно прямо, стиснув до боли в висках челюсти, и тарасил глаза на краснолицего кабатчика.

У кабака их ждали два вместительных кеба и какие-то люди. «Very good!»², «Карашо, русски сеапан!»³: Они знают, куда повезти русских матросов! Плешивый многозначительно подмигнул.

– Свистать всех наверх! – подал команду Удалой и, пошатываясь, первым полез в полумрак кеба.

Ехали долго, подпрыгивая на ухабах, плюхаясь в ямы, так что сквозь щели в полу матросов обдавало жидкой грязью дороги.

– Чертова колымага! – ворчал Удалой, ударяясь головой о ржавые ребра кеба. – Похуже нашего гроба будет. Тоже, видать, старой постройки и с дырками в заду...

Пахло потным войлоком и старыми кожами.

² Очень хорошо!

³ Матрос.

Тряская езда и сырой полумрак отрезвили матросов. Подъезжая к Гилфорду, они подозрительно стали посматривать на своих провожатых, уже не казавшихся, как час назад, добрыми, сердечными мальыми.

Удалой попросил остановить экипаж. Но матросам объяснили: они сейчас так далеко от Портсмута, что все равно не смогут вернуться к назначенному часу. Да и капитану «Авроры» уже дали знать об их дезертирстве. Русский капитан поверит, конечно, скорей полиции, чем беглецам. Впрочем, матросам тревожиться нечего: их довезут до Лондона, дадут адреса, они получат там по двадцать фунтов стерлингов, и, если пожелают, им предоставят место на любом торговом корабле Англии...

Семен ударил тяжелым сапогом в дверь кеба. Кеб накренился, но дверь не подалась.

Драка началась сразу, молчаливо, деловито. Только плешивый взвизгнул и забился в угол. Задний кеб мирно потряхивало на гилфордских булыжниках, тогда как с передним стали твориться чудеса. Его качало и кренило, кожаные бока вспухали то в одном месте, то в другом, глухие удары и тяжелое сопение в кебе слышали даже прохожие. Возница растерянно оглядывался, не зная, остановить лошадей или ехать дальше. Люди, нанявшие кеб, слишком хорошо знакомы ему, – они приказали гнать лошадей и не простят «кебби»⁴ остановки. Они сумеют испортить ему жизнь.

Но вот, затрещав, дверь распахнулась, и на грязную узкую мостовую выпали двое. А внутри кеба продолжалась драка. Протяжно выл плешивый, защищаясь ногами от ударов Миши Климова. Кебмену пришлось остановить лошадей. Стала собираться толпа зевак. Над ними в тумане зажигались гилфордские «звезды» – тусклые газовые фонари. Появился полицейский инспектор, несколько матросов и флотских офицеров, которых всегда бывало много по пути из Портсмута в Лондон.

Удалой поднялся с земли. Рябой, весь в грязи, в разорванной до пояса рубашке, с непокрытой головой, он оглядел толпу серыми выпуклыми глазами, глубоко вздохнул, улыбнулся всем своим большим лицом и сказал как-то невзначай:

– Спасите, люди добрые! Сами видите...

В толпе оказался мичман Попов с «Авроры». Он хотел увезти матросов, но плешивый вознамерился было помешать этому, шепнув полицейскому инспектору, что русские дезертировали и просили доставить их в Лондон, под защиту английских властей. Плешивого тут, видимо, знали: из толпы полетели ругательства, кто-то свистнул, с тротуара швырнули в него комом грязи.

Мичман настаивал, резко, запальчиво, он уловил кое-что из слов плешивого и понял, какой бедой грозит эта история «Авроре».

Полицейскому инспектору пришлось усадить матросов в кеб и отправиться в Портсмут. Плешивый устроился рядом с «кебби», но, отъехав несколько миль от Гилфорда, он попросил придержать лошадей и скрылся в темноте уходящей куда-то в сторону пустынной проселочной дороги.

До самого Портсмута полицейский инспектор не проронил ни слова, он лишь бормотал себе под нос извинения, когда от неожиданных толчков наваливался на сидевшего в углу мичмана.

На «Викториусе», где по-прежнему находился экипаж «Авроры», уже хватились матросов. Старший боцман Жильцов доложил об их отсутствии вахтенному лейтенанту Александру Максудову, Максудов – помощнику Изыльметьева, капитан-лейтенанту Тиролу. Тироль оставался в каюте, но часто требовал к себе Жильцова, и всякий раз, возвращаясь от помощника капитана, боцман нетерпеливо похаживал вдоль фальшборта, всматриваясь в проходя-

⁴ Уменьшительное от «кебмен» – извозчик, возница.

щие шлюпки. Тревога нависла над палубой старого корабля, где все было чужим и непривычным для экипажа «Авроры».

Изыльметьева на «Викториусе» не было. Он съехал на берег еще днем и отправился в Лондон, поручив экипаж помощнику.

Тироль старался скрыть охватившее его злорадное чувство. Еще в Кронштадте друзья, узнав о предложении Изыльметьева, предупреждали Тироля, что плавать с Иваном Николаевичем будет нелегко. Тироль мог отказаться от лестного предложения, подождать самостоятельного назначения, – в конце концов, они в одинаковом с Изыльметьевым чине.

Но Тироль не отказался. Вспомнил молчаливого «татарина», своего добродушного товарища по Морскому корпусу, – и дал согласие. Теперь Тироль раскаивался, досадовал на себя, но дела уже не поправить.

Более всего опасался Тироль того, что какой-нибудь опрометчивый шаг Изыльметьева может повредить его, Тироля, карьере. Уже участвуя в последних приготовлениях «Авроры», он, к ужасу своему, увидел, как велико неодобрительное отношение сановников Адмиралтейства к Изыльметьеву. Сомнения уже тогда одолевали осторожного помощника капитана, но отступить было поздно. А едва только фрегат вышел в открытое море, Изыльметьев стал круто наводить порядки.

Начал он с Жильцова, старшего боцмана фрегата. Жильцов до «Авроры» плывал с Тиролем, он был опытным, неутомимым моряком и жестоким человеком. Широколицый, с большим, чуть приплюснутым носом и подозрительным взглядом немигающих светлых глаз, Жильцов умел держать нижних чинов в повиновении и страхе. Сам Тироль редко пускал в ход кулаки – этому мешала брезгливость. С Жильцовым Тироль чувствовал себя спокойно: нужно было только не замечать вышибленных зубов, распухших носов, исполосованных спин. А Тироль умел смотреть поверх голов!

Изыльметьев проучил Жильцова, он приказал ему вывернуть карманы и выбросить за борт линьки, которыми боцман так злоупотреблял. Не прошло и недели, как в кармане у боцмана завелся новый, аккуратно свернутый линек, но матросы втихомолку потешались над Жильцовым: то и дело кто-нибудь из них появлялся на палубе с карманом, будто невзначай вывернутым наизнанку. Искуснее других проделывал это марсовый Миша Климов, смуглый, черноволосый матрос, прозванный на фрегате Цыганком: он ухитрялся неожиданно возникнуть перед самым носом старшего боцмана и, поймав на себе его яростный взгляд, так натурально умел удивиться и торопливо заправить карман, что Жильцов только зубами скрежетал.

Старший боцман искал поддержку у Тироля, но встречал лишь осторожное сочувствие и в душе начинал уже презирать помощника командира. Тироль чувствовал это, знал, что и младшие офицеры решительно держат сторону Изыльметьева, и бесился, становясь все более замкнутым, сухим, педантичным.

После семи вечерних склянок Тироль поднялся из каюты на палубу «Викториуса». Оставалось полчаса до полуночного колокола. Темнота окружала судно, вдали тускло светились огни порта и мигали сотни фонарей на гафелях торговых судов. Порой по заливу проползали желтые огоньки, но ни один не поворачивал к «Викториусу». На шкафуте покашливал, поджидая матросов, Жильцов.

– Боцман! – окликнул его Тироль.

Жильцов мигом предстал перед Тиролем. Коренастый, плечистый, со стареющим, в глубоких, мягких складках лицом, он вытянулся в струнку перед Тиролем.

– Вахтенного лейтенанта ко мне, – приказал Тироль, чуть подавшись назад и брезгливо морщась от хлынувшего на него сивушного духа. – С-с-котина! – добавил он с равнодушной злостью. – Опять нажрался...

Явился Александр Максотов. Они долго стояли молча, точно не замечая друг друга, наблюдая за движением редких запоздалых шлюпок.

– Неужто дезертировали? – проговорил наконец Тироль.

– Не думаю. Напились, верно.

– Хамье! – выругался Тироль. Он впился настороженным взглядом в далекие, едва различимые огни берега, словно надеялся увидеть там матросов «Авроры». – Из любого португальского кабака они уже давно бы вернулись на судно. Приползли бы, не новички...

– Из кабака прямая дорога в полицию, – заметил лейтенант. – Английская полиция весьма бдительна.

– Не следовало пускать их на берег, – тихо сказал Тироль.

– Рано или поздно это пришлось бы сделать...

– Да-а... – досадливо протянул Тироль и приник к борту.

К «Викториусу» быстро приближалась шлюпка.

Полицейский инспектор добросовестно изложил Тиролю все, что шепнул ему в Гилфорде плешивый. Матросы дезертировали. Они напоили кассира здешнего арсенала («Примерной честности малый», – вставил инспектор ровным, бесстрастным голосом), посулили ему денег за то, что он проводит их до Лондона. Подъезжая к Гилфорду, кассир протрезвел, стал корить матросов, но был ими избит. Собралась толпа, и беглецов удалось задержать. Вот и все.

Инспектор даже не поднялся на палубу: пропустив вперед матросов, он остановился на последней ступеньке трапа, всем своим видом свидетельствуя беспристрастность и точность полицейского донесения.

По мере того как до Тироля доходил смысл отрывистых фраз инспектора, его охватывала неодолимая, как от озноба, дрожь. На какой-то миг мозг пронзила злорадная мысль: «Началось! Теперь капитану не поздоровится! Придется ответить за вредное для военного корабля попустительство». Но сразу же все захлестнула ярость, какой Тироль и сам не подозревал в себе. Неясно, словно с далекого, чужого корабля отдались в мозгу удары полуночного колокола. Помощник капитана торопливо поблагодарил инспектора и, едва тот спустился по трапу в шлюпку, кинулся к провинившимся матросам. Тироль оттолкнул мичмана Попова, который порывался что-то сказать ему, задел плечом Александра МаксUTOва и обрушился на Цыганка, стоявшего ближе других.

Тироль задыхался от гнева. В долговязом, тощем с виду теле обнаружилась злая, собранная сила, костистый кулак бил без промаха по лицу Цыганка. Кровь текла из носа, из рассеченного надбровья.

Александр МаксUTOв не видел Цыганка. Бледнея и вздрагивая натянувшимися, как струна, мускулами, он впился взглядом в Тироля. Было что-то гадливое и в то же время заразительное, влекущее в том, как бесновался Тироль, утверждая свою власть над провинившимся матросом.

Привлеченные ругательствами Тироля, на палубу поднимались офицеры. Заспанный Вильчковский на ходу возбужденно спрашивал о чем-то. Дмитрий МаксUTOв тревожно окликнул брата.

От резкого движения фуражка слетела с головы Тироля, открыв глянцевитую, блестящую под светом фонаря лысину.

Боцман ловко подхватил покотившуюся по палубе фуражку, но холодный ветер уже охладил пыл Тироля. Он вдруг увидел и блестящие от возбуждения глаза вахтенного лейтенанта и насупленные, напряженные лица матросов.

– В кандалы! – прохрипел Тироль, резко повернувшись к вахтенному лейтенанту. – Посадить на хлеб и на воду, впредь до суда!

Унтер-офицеры кинулись выполнять приказ командира. Принесли тяжелые кандалы. Но марсового Климова доктор Вильчковский уложил в лазарет.

В каюте Тироль отыскал изданный в 1851 году в Морской типографии «Свод морских уголовных постановлений». Дрожащие пальцы не сразу захватывали плотные, с золоченым

срезом листы. Какую бы страницу ни открывал наугад капитан-лейтенант, она угрожала матросу казнью, вечным поселением в Сибири, тысячами ударов палок, розог, шпицрутенов, линьков, ременных «кошек», грозила заключением в казематы, тюрьмы, на гауптвахты, на бак и под бак. Если матрос потеряет сознание под ударами палача, высочайше повелевалось отправить его в лазарет, выходить – затем только, чтобы по выздоровлении продолжать наказание, до тех пор, пока матрос не получит сполна назначенное число ударов.

Наконец Тироль нашел параграфы, относящиеся к побегам матросов с кораблей, и призадумался.

Случай, оказывается, не из легких. Матросов слишком рано вернули на «Викториус» – только по истечении суток дезертирство считалось установленным и подлежало наказанию по всей строгости военного времени. Нельзя считать Англию неприятельской страной, а Портсмут вражеским портом, несмотря на явную враждебность парламента и газет. Но, с другой стороны, Россия воюет с Турцией, и побег аврорцев следует расценить как преступление военных моряков в военное время! Важно и свидетельство полицейского инспектора – точное, неопровержимое... Чем дольше размышлял Тироль, тем тверже становилось его убеждение, что матросам не избежать строгого суда. А роль презуса суда волей-неволей придется взять на себя Изыльметьеву. Так повелевает закон.

Тироль остыл, размышления вернули ему обычную осторожность, и тут-то он неожиданно вспомнил лицо мичмана Попова, порывистое движение молодого офицера, оставившее в сознании капитан-лейтенанта какую-то необъяснимую досаду. Да, мичман хотел что-то сказать...

Тироль вызвал Попова.

– Вы, кажется, имели что-то сообщить мне, мичман? – сухо спросил он, чувствуя враждебную настороженность Попова.

– Да, господин капитан-лейтенант!

– Нуте-с... – Тироль не сделал привычного для него плавного жеста: «Прошу вас, садитесь...»

– Еще час назад я хотел сказать вам, господин капитан-лейтенант, что не считаю провинившихся матросов дезертирами...

– Вы что же, были с ними в кабаке, мичман?

Попов задержал дыхание. Каштановые усики, бакенбарды и карие глаза резче обозначились на бледном лице.

– Я случайно встретил матросов в Гилфорде...

– Значит, они бежали! – воскликнул Тироль.

– Матросов увезли обманом. В Гилфорде они затеяли драку, чтобы вырваться на свободу.

– А кассир портсмутского арсенала?

– Агент! – уверенно ответил мичман, вспомнив плешивого. – Полицейский агент...

Тироль поднялся.

– Будьте осмотрительны, мичман, – здесь затронута честь «Авроры», честь нашего флага. Самое мягкое, но благородное сердце должно забыть о жалости. Побег – и в это время!

– Я был свидетелем всему, – с усилием проговорил Попов, – я прошу вас смягчить участь матросов. – Ему трудно было просить и смотреть в белесые, с покрасневшими веками глаза Тироля.

Тироль отчетливо представил себе офицеров фрегата. Вероятно, многие, несмотря на поздний час, не спят, ждут возвращения Попова. Сквозь длинный ряд каютных переборок он физически ощутил неприязнь молодых офицеров. Но это чувство только раздражало и злило его.

– Вы отрицаете самую возможность дезертирства, мичман?

– С «Авроры» матросы не могут... – Попов запнулся, – не должны бежать...

– Почему?

– На «Авроре» благодаря Ивану Николаевичу... – взгляд Попова скользнул по переборке, по аккуратной койке командира, – благодаря вам, господин капитан-лейтенант, отношение к нижним чинам столь гуманно, столь человечно...

– Хорошо, – отрезал Тироль, – идите.

И Тироль принял решение. Пусть относительно суда распорядится сам Изъльметьев, когда вернется из Лондона. Презусом суда может быть только он, командир корабля, вольно ему и отказаться от этой роли и самому понести наказание за попустительство.

Утром экипаж «Авроры» выстроился на палубе «Викториуса». День был на редкость туманный. Плотные ряды нижних чинов уходили куда-то в белесую мглу.

С бака привели беглецов.

Взоры всего экипажа приковал Цыганок. Матросы любили его. Несмотря на молодость, он был марсовым; природная ловкость и сметливость помогли ему нести трудную и почетную службу. Открытый и добрый характер, задушевность этого горячего и настойчивого парня сразу расположили к нему товарищей. Цыганок был грамотен – он одолел эту премудрость в детстве милостью сельского дьячка. Матросы охотно доверяли ему свои мысли и любили слушать, как под пером Цыганка их сердечные слова превращаются в складные строки писем на родину.

Лицо Цыганка распухло, только выпуклый, чистый лоб оставался нетронутым.

Тироль придиричиво огляделся. Бросилось в глаза почти полное отсутствие офицеров. Чуть поодаль стоял Александр Максутов, еще дальше, у грот-мачты – рослый Евграф Анкудинов и мичман Пастухов. Доктор Вильчковский нетерпеливо переминался с ноги на ногу рядом со старшим боцманом. Тироль подумал, что в такую промозглую погоду Вильчковского, вероятно, мучает ревматизм, лучше бы ему сидеть у себя в каюте. Но доктор пришел, служба обязывает его находиться здесь, а молодые, здоровые офицеры сказались вдруг больными... Черт с ними!

Заметив в руках у боцмана и унтер-офицеров ременные «кошки», Удалой успел шепнуть Цыганку:

– Хребет береги. «Кошка» и хребет сечет...

– Поберегу.

Боцман Жильцов сжимал в руке «кошку». Три ребристые кожаные полосы свисали на влажную палубу.

Удары «кошкой» – самое тяжелое из всех телесных наказаний на флоте. Даже правительственными распоряжениями каждый удар треххвосткой приказано было засчитывать за двадцать ударов шпицрутенами.

Жильцов знал, что доктор никому из унтер-офицеров не позволит нанести больше пяти ударов «кошкой», иначе он не стоял бы тут, сердито поблескивая очками.

Неторопливо, подолгу отдыхая, наносил Жильцов удары по смуглой гибкой спине Цыганка. Медленно поднималась длинная деревянная рукоять, над ней змеей вставало ременное плетиво «кошки», а три кожаных конца послушно откидывались назад. Сотни глаз следили за неподвижной, застывшей в воздухе «кошкой». Но никто не мог уследить за ее падением. Ремни рассекали воздух и впивались в тело матроса, оставляя нетронутой смуглую глубокую канавку посреди спины. Цыганок из последних сил берег хребет.

Цыганку доставалось хуже, чем остальным матросам, которых били «кошками» унтер-офицеры. Нанося удар, Жильцов как-то странно приседал, откидывался назад, ремни раздирали рану, причиняя тяжкую боль. Глубокие рубцы ложились вплотную друг к другу, и после пяти ударов на спине Цыганка появилась широкая полоса иссеченного кровоточащего мяса.

Удалого с товарищами снова увели в кандалах на бак, а Цыганка унесли – и на этот раз надолго – в лазарет.

К вечеру на «Викториус» прибыл встревоженный Изыльметьев. Утренние лондонские газеты вышли с подробными описаниями «побега шести русских матросов с русского фрегата «Аврора». Консервативный «Таймс», либеральная «Дейли Ньюс» и десяток других газет – от правительственных официозов до крикливых листков оппозиции – обрушились на «Аврору» и ее капитана.

Изыльметьев внимательно выслушал своего помощника. То, что рассказывал Тироль, слишком точно совпадало с газетными отчетами, чтобы быть правдой. Подозрительными были и согласный хор газет и то обстоятельство, что многие редакции за одну ночь оказались в равной мере осведомленными в подробностях дела. Значит, тут действует какая-то сознательная, располагающая могущественными средствами и враждебная «Авроре» сила. В дезертирство матросов Изыльметьев не верил – он слишком хорошо знал каждого из них.

– Матросов немедля расковать, – сказал Изыльметьев после тягостного молчания. – Они понесли достаточное наказание за оставление Портсмута. Подобное не должно повториться на «Авроре».

– Рискованное решение, – заметил Тироль, внутренне закипая. Дисциплина экипажа, подчинение, престиж старшего офицера – все ставится на карту!

– Матросов наказали – и наказали сурово, – повторил Изыльметьев упрямо. – Все дело в том, считать ли их дезертирами или нет. Вы, как, впрочем, и эти лондонские господа, – он бросил на стол пачку привезенных на «Викториус» газет, – считаете матросов изменниками, я держусь иного мнения...

Тироль, однако, не унимался. Не скрывая злости и досады, просил об отправке матросов в Кронштадт с корветом «Наварин» или даже с торговым кораблем, ссылаясь на то, что, согласно высочайше одобренным постановлениям, умыслом к преступлению почитается «обнаруженное какими-либо действиями намерение учинить оное, хотя бы при том и не было произведено ни самого преступного действия, ни покушения к оному», просил, по крайней мере, оставить беглецов в кандалах до выхода в Атлантический океан.

Но Изыльметьев был непреклонен.

– Оставив их в кандалах, мы подтвердим клеветы врагов. Слуга покорный – я не намерен этого делать! «Кошка» на «Авроре»! – угрюмо проговорил Изыльметьев. – Какой позор!

Капитан назначил матросам особую присягу «для очищения подозрения», как командир корабля он имел на это право.

Пройдя на бак «Викториуса», где унтер-офицеры снимали кандалы с матросов, Изыльметьев сердито обратился к Удалому:

– Бежать вздумали?! Опозорить «Аврору» и мою седую голову!

– И в умысле этого не имели, ваше высокоблагородие, – взмолился Удалой.

– А все-таки бежали?!

Удалой сказал дрогнувшим голосом:

– Легче смерть принять, чем чужой земле предаться. Обманом взяли нас... Своя-то земля и в горсти мила...

Опасения Изыльметьева относительно организованного характера травли экипажа «Авроры» полностью подтвердились на следующий день. Заговорили политики, парламентские ораторы, добродетельные буржуа и активистки филантропических обществ. Джентльмены, хладнокровно организующие убийство миллионов цветных людей, прониклись евангельским сочувствием к шести «невинным христианам, которых пытаются и, несомненно, убьют так же безжалостно, как убивают несчастных турок на Дунае». Заговорил о попрании гуманных законов Англии искавший популярности прокурор Чарльз Рональдс. Раздраженный «Таймс» писал, что офицеры русских судов «находятся здесь на положении шпионов».

В эти дни работы на «Авроре» подходили к концу. При попутном ветре можно было вскоре уйти с портсмутского рейда.

Пятого декабря на борт «Викториуса» поднялся полицейский инспектор с предписанием препроводить бежавших матросов к председателю верховного суда Англии.

Изыльметьев медленно читал предписание и обдумывал, как поступить.

«...the writ of Habeas Corpus»⁵.

Пристальные глаза капитана не спеша ощупывали бумагу, скользили по фигуре инспектора, застывшей на фоне серого декабрьского неба. Можно и отправить матросов с этим самоуверенным индюком. Ничего с ними, конечно, не станется, страсти поутихнут, и матросов вернут на «Аврору», снабдив их какой-нибудь длинной нравоучительной бумагой.

Но отпустив матросов в Лондон, капитан не сможет уйти из Портсмута. Людей бросать нельзя, нельзя вычеркнуть их из корабельных списков. Да и уход «Авроры», пожалуй, сочтут за бегство, за признание вины.

Нет! Уходить без матросов нельзя. Что же делать? Ждать? Ждать дни, недели, пока самый медлительный суд в мире разберет дело. Смотреть в непроницаемые лица судейских, на их пудренные парики, читать в газетах вздорные парламентские запросы о шести русских моряках, сносить всю грязную возню вокруг «Авроры» и в бессилии наблюдать, как свинцовые волны Темзы свободно бегут в открытое море. Они хотят, чтобы «Аврора» теряла время – как раз то, чем Изыльметьев дорожил больше всего. Им нужно задержать «Аврору», заставить ее простоять в Портсмуте, не пустить в Де-Кастри, к восточным берегам России. Изыльметьев еще не понимал подлинных причин провокации, но чувствовал, что нельзя терять ни одного дня. Что-то нужно придумать! К сожалению, русского консула нет, он в отъезде, а вице-консул струсит, постарается умыть руки.

Изыльметьев презрительно помахал бумажкой и решительно произнес:

– Это недоразумение. Матросы не бежали, их пытались увезти силой!

Инспектор бесстрастно кивнул головой.

– Все они на свободе. Удалой! – окликнул Изыльметьев матроса.

Удалой подскочил и встал навытяжку перед капитаном.

– Вот один из них.

Инспектор не повернул головы, не повел глазом, хотя матрос давно узнал одного из своих гилфордских знакомых и хитровато подмигивал ему.

– Именем ее величества я доставлю матросов в помещение верховного суда Англии, – невозмутимо сказал инспектор.

Изыльметьев вскипел. Сжал в руке полицейский приказ, шагнул к инспектору и сказал отчетливо:

– Если бы предписание действительно исходило от ее величества, оно было бы адресовано нашему послу или консулу! – И он швырнул предписание за борт.

Инспектор и сопровождавшие его полицейские бросились к сеткам. На мутных волнах, среди щепы, шелухи и грязной портовой пены покачивалась скомканная бумажка.

На следующее утро портовым властям было предписано именем королевы Виктории препроводить в верховный суд «не только матросов-беглецов, но и дерзкого капитана Исламатова».

«Аврора» стояла готовая к отплытию. Изыльметьев спокойно прохаживался по палубе фрегата.

А седьмого декабря днем он приказал поднять паруса и на глазах у большой толпы, возбужденной скандалом, мимо коммерческих судов всех наций вывел фрегат в море. Портовые власти, растерявшиеся в первые минуты, вынуждены были салютовать «Авроре» пушечной пальбой.

Так они поступали всегда, когда иностранный военный корабль покидал гавань.

⁵ The writ of Habeas Corpus – предписание о представлении арестованного в суд для рассмотрения законности ареста.

IV

Благообразный джентльмен Дэвис Прайс не в первый раз ссорился с командующим французской эскадрой контр-адмиралом Феврие Депуантом. С третьего апреля, когда потрепанная сильнейшими штормами «Аврора» пришла в Кальяо, кончились салонные беседы, воспоминания, любезности, маскировавшие взаимное неуважение этих двух светских людей.

Слова Прайса падали веско, в них сквозили нетерпеливость, раздражение:

– Адмирал, вы не хотите считаться с фактами. Это неблагоприятно.

Они давно оставили удобные кресла и стояли у иллюминатора адмиральской каюты, поглядывая на «Аврору».

– Есть более высокие добродетели, чем благоразумие, мой адмирал, – сказал Депуант. – Честь, например. Честь офицера не должна быть запятнана.

Прайсу давно наскучил лощенный старичок, его заученный тон и дешевый артистизм. Сколько чувства вкладывает он в самые простые слова: «адмирал», «мой адмирал». Он проносит их так, словно говорит: «Мой император!» А в сущности – пустота. Никакого чувства.

– Моральные проповеди! Они полезны мичманам. Контр-адмиралу можно следовать доводам здравого рассудка, не обращая внимания на моральные пугала. Оставьте их детям и неудачникам, адмирал.

Прайс – долговязый старик, неаккуратный, не замечающий своей неаккуратности, повсюду соривший табак, крошки, пепел. Когда он улыбался, обнажались бледные, старческие десны и крупные, лошадиные зубы. Сухой, тонкий рот и злые, назойливые глаза придавали лицу иезуитскую жесткость.

Он смотрел на маленького Депуанта с высоты ста восьмидесяти шести сантиметров своего роста. Белая борода клинышком, пушистые белые усы француза и седые бакенбарды – и в этом благородном обрамлении пунцовые губы, багровые щеки, покрытые сеткой фиолетовых прожилок, склеротические глаза.

– В Сан-Франциско уже смеются над нами, – сказал Прайс, протягивая собеседнику калифорнийский «Таймс». – Взгляните!

Депуант стал читать. «Таймс» писал, что Тихий океан сделался обширным поприщем для русских военных судов. «В Тихий океан выслано несколько русских военных судов, которые в настоящее время появляются в разных портах и, по-видимому, мало обращают внимания на английские и французские суда, находящиеся здесь». Последние слова были подчеркнуты Прайсом.

Француз небрежным жестом положил газету на стол.

– Янки ждут не дождутся, когда мы сцепимся с русскими, – заметил он небрежно. – Новейший американец – сама предприимчивость. Он привыкает думать о Тихом океане как о собственном владении. Бьет китов у берегов России, покупает все, что произрастает на Сандвичевых островах, и благодаря практическому направлению ума достигает цели. Американец опасается, что Россия однажды поймет свою силу, создаст флот на востоке раньше, чем это сделают Штаты. Тогда, мой друг, янки придется потесниться. – Адмирал остановился, изучая недовольное лицо Прайса. – Они напрасно пугают нас. Россия дремлет и нескоро поймет свои возможности. Во всяком случае, не в наш с вами век.

– А эскадра адмирала Путятина?

– Уж эта мне *petite escadrille!*⁶ Старая «Паллада», годная на слом, этот монстр, – адмирал указал дрожащей рукой на «Аврору», – и еще две-три посудины. Мы потопим их одним бортовым залпом «Форта», мой адмирал!

⁶ Маленькая эскадрилья.

Прайс смотрел на него, прищурился, морщинистые веки.

– Вы заблуждаетесь.

– Мы потопим «Аврору» одним залпом верхней батареи «Форта», – повторил с расстановкой Демуант.

– Тогда командуйте «огонь»! – подхватил Прайс. – Поверьте мне, эхо этого залпа раскатится по всему миру. Пока не отомщена память великого императора, честь первого выстрела принадлежит Франции.

Но патриотический мотив не поколебал француза.

– Ни один выстрел не раздастся до тех пор, пока не придет «Вираго» с депешей о разрыве, – сказал Демуант, подчеркивая свою непреклонность энергичным движением руки, и добавил мягче: – Мы условились об этом, адмирал.

Прайс вспыхнул. Вскинув длинные, костлявые руки, словно собираясь проклясть француза, он отрезал грубо:

– Мы не улавливались торчать здесь до второго пришествия! В Черном море, быть может, уже пролилась кровь французов, а вы ждете какой-то бумажки, нескольких жалких слов, подтверждающих то, что для нас с вами совершенно очевидно!..

Прайсу не понять, какие запутанные мысли копошатся в усталом мозгу Демуанта. Кто знает, что задумал император французов, маленький Наполеон, который послал старого адмирала в тихоокеанские воды?

Феврие Демуант был отпрыском аристократического рода, издавна преданного династии Бурбонов. Сам убежденный орлеанист, приверженец монархии, он бредил в юности бурбонскими лилиями, мечтая вместе с кружком друзей стать спасителем «несчастной Франции». Но годы шли, жизнь смеялась над иллюзиями пылкого Феврие, в бурях тридцатых и сороковых годов таяло небольшое наследство и росло остренькое брюшко бездеятельного морского офицера.

Преобразование Луи Наполеона из президента республики в императора Франции Демуант, как и многие офицеры флота, встретил с молчаливой враждебностью. Он свято исповедовал истину: плохой император лучше идеальной республики. Но Луи Наполеон как личность не располагал к себе. Демуант презирал узурпатора за то, что он был некогда полицейским чиновником в Англии. Презирал за флирт с буржуазным плебсом, за шулерские проделки, обличавшие низменную, развращенную натуру Луи Наполеона, и даже за то, что щедро соря миллионами для подкупа генералов и солдат, император плохо заботился о пополнении пустующих кошельков офицеров флота.

Примирение шло медленно. Демуант все еще оставался орлеанистом, но с некоторых пор находил уже Луи Наполеона дальновидным и достаточно сильным, чтобы спасти Францию. Когда же наконец и Демуант был обласкан и назначен командовать небольшой эскадрой у тихоокеанских берегов Америки, а его личный друг генерал Кастельбажак отправлен в Петербург в качестве посланника Луи Наполеона, адмирал почти уверовал в своего императора, хотя в душе продолжал считать его опасным шарлатаном. «От героя второго декабря⁷, – думал Демуант, – можно ожидать всего. Он может уснуть с молитвой о ниспослании ему победы над Севастополем, а проснувшись, объявить себя другом русского императора. Кстати, генерал Кастельбажак покорен и очарован Николаем».

И Демуант колебался.

Была и другая причина.

С началом военных действий Прайс становился начальником объединенной эскадры как старший по производству, а Демуант об этом и думать не мог без ярости, способной толкнуть его на сумасбродство. «Этот торгаш, – негодовал он, – пустившийся в плавание потому, что

⁷ Второго декабря 1851 года Луи Наполеон совершил государственный переворот, упразднив республику.

оно сулит легкие крейсерские победы и высокий титул лорда, который он оставит сыновьям вместе с краденым золотом, этот плантатор будет командовать мною только потому, что он на десять лет старше меня и на шесть лет раньше стал контр-адмиралом! – В такие минуты Депуант с возрастающей ненавистью смотрел на Прайса сквозь полузакрытые вздрагивающие веки. – На десять лет старше! Этого никто не скажет: у него не дрожат руки, он не страдает подагрой и не задыхается от быстрой ходьбы. Но нет, ему не удастся сбить меня с толку. Мне, голубчик, некуда торопиться».

– «Аврора» очень потрепана, – сказал наконец Депуант. – Русские начали ремонтные работы, и до окончания их фрегат не может двинуться с места. «Вираго» придет раньше, чем русские приведут в порядок судно. Лейтенант Лефебр вместе с моим медиком был на «Авроре», он утверждает, что фрегат основательно поврежден. Лететь сломя голову мимо мыса Горн в период равноденствия, когда неизбежны штормы и противные ветры, рисковать экипажем, рангоутом и парусами, – нет, на это способен только невежда и сумасброд.

– Но мне подозрительна поспешность русских, – заметил Прайс. – Они не теряют ни одного дня. Спешат.

– Куда?

– Не знаю. А такие переходы, как Портсмут – Рио, Рио – Кальяо, удаются немногим.

Злые глаза Прайса кольнули насмешкой. В его словах намек на то, как полз по этому же маршруту Депуант, засиживаясь в каждом южноамериканском порту, пережидая непогоду и противные ветры.

Депуант не хотел остаться в долгу.

– Вы правы, адмирал. Я понимаю, почему многие предпочитают мыс Доброй Надежды, – сказал он, намекая, в свою очередь, на владения Прайса близ Капштадта.

– Оставим колкости. – Лицо Прайса сделалось замкнутым и хмурым. – Через несколько часов нас посетит русский капитан. Мы должны уточнить свои цели.

– Они определены инструкцией: уничтожив эскадру Путятина, мы идем разорять русские берега...

– Слова, слова, слова! – нетерпеливо прервал его Прайс. – Что мы знаем о русских берегах? Адмирал Непир с огромным флотом действует в Балтийском море. А мы? Нас спровадили в Тихий океан! Здесь, может быть, и не случится настоящего, правильного сражения, но честное имя можно потерять и без того. У русских здесь мало кораблей. Это наше преимущество. Но попробуйте-ка суньтесь к берегу, не зная его, в их порты, покрытые льдом две трети года! У этих берегов можно потерять репутацию, не сделав ни одного выстрела.

– Интересы империи важнее моей репутации!

Прайс еще больше нахмурился. Сколько раз эта фраза помогала Депуанту скрыть отсутствие мысли, воли, решимости... Но сделав над собой усилие, Прайс удержался от резкого ответа и продолжал настойчиво:

– Петропавловск в камчатских водах – пожалуй, единственная верная цель. Закрытая гавань, естественное убежище. Туда, вероятно, и придет эскадра адмирала Путятина. Но может случиться и так: мы не застанем в Петропавловске ни одного человека, ни одной лодки. Если они оставили однажды безлюдную Москву дядюшке вашего императора, то сжечь сотню изб им ничего не стоит. Жители уйдут в леса.

– А русские фрегаты? – возразил Депуант. – Устье Амура закрыто для морских судов. Им некуда деваться.

– Может произойти то, чего я больше всего опасаюсь, – сказал Прайс задумчиво. – Они откажутся от мысли действовать эскадрой и займутся крейсерством, каждый на свой страх, уничтожая наши купеческие суда.

– Мы истребим русские суда поодиночке, – вяло ответил Депуант, словно борясь с охватившей его сонливостью.

– Тихий океан велик, – заметил Прайс.

– У нас достаточно сил...

– Заблуждаетесь! Вы слышали что-нибудь о Давиде Портере? – Прайс всмотрелся в седины Депуанта. – Впрочем, вы были еще юнцом, когда здесь, у берегов Америки, хозяйничал Портер. – Едва заметная усмешка пробежала по бескровным губам адмирала. – Как раз в ту пору Бонапарт терял империю, сидя в Московском Кремле. Да, да... Я хорошо помню, какой панический ужас наводило на шкиперов и судовладельцев имя Портера. В трюмах гнили фрукты, плесневели и портились товары, но страх перед американцем держал купцов в гаванях. Молодчик Портер на одном-единственном фрегате «Эссекс» захватил двенадцать наших крупных купеческих кораблей. Его сорок шесть пушек нанесли Англии убыток в тринадцать миллионов франков. Каково! Триста тысяч на пушку! Наши фрегаты ничего не могли с ним поделаться...

Прайс видел, что и подвиги Портера не вывели из апатии француза. Его глаза сонно уставились в иллюминатор, за которым синел океан, багровые щечки обвисли. «Неужели он дремлет?» – подумал Прайс. Они сидели теперь на диване, у переборки, украшенной семейными дагерротипами Прайса.

– Вы никогда не интересовались коммерцией, адмирал? – неожиданно спросил он у Депуанта.

– О нет!

– Напрасно. – В тоне Прайса сквозило искреннее сожаление. – Коммерция и естественные науки – достойнейшие поприща человеческой деятельности. В Англии человек без коммерческой жилки быстро выходит из игры. Его обойдут, как обходят на дерби лошадь, сбившуюся с шага. Вы можете сегодня получить королевскую грамоту, большой крест ордена Бани, а завтра лишиться доброго имени, чести, состояния, если это будет угодно людям коммерции.

Депуант сочувственно улыбнулся.

– Они вам крепко досадили, адмирал!

– Я не скрываю этого. – Прайс прижмурил правый глаз, провел по далеко выдвинутым коленям сжатыми кулаками. – Они сбили меня щелчком, как жука, взбирающегося по ветке. Но я упал на ноги, адмирал. С юношеских лет я был смелым головорезом, готовым на всякую опасность. Однажды, еще в мундире гардемарина, я влез на крест собора Святого Павла в Лондоне... да, да, на самую вершину святилища, где покоится прах Нельсона и Коллингвуда... и в память о себе привязал к кресту носовой платок... Когда мне не повезло, на мне уже был адмиральский мундир. Они столкнули меня в грязную воду Темзы, а я проплыл под шестью лондонскими мостами и вынырнул в Капштадте, в благословенной земле кафров.

– Так нырнуть может только старый морской волк, – сказал Депуант, оживляясь.

В нем проснулся интерес к исповеди Прайса – она уводила его в сторону от неприятного разговора, от необходимости принимать решение.

– Мне удалось сколотить состояние, и сыновьям не придется начинать сызнова. Но я хочу подарить им лордство. Это дорого стоит в Англии, и, кроме того, нужен благовидный предлог. Поэтому я попросил назначения во флот – пусть еще раз вспомнят обо мне... Остальное сделают деньги. Моего Гарри, – сказал Прайс решительно, – будут называть «баронет сэр Генри Прайс»! Я презираю опасность, пренебрегаю смертью и боюсь только одного – ответственности! Ответственности перед парламентом, перед газетами, рвущими жертву, как шакалы связанного человека.

Неожиданный поворот разговора застал Депуанта врасплох.

– Вы окружили себя страхами, адмирал! – заметил он.

Прайс с ненавистью посмотрел на сизую петушиную шею Депуанта, резко поднялся и сказал:

– Даже Коллингвуд, храбрый Коллингвуд, боялся ответственности, как старая дева мыши, как дитя привидения. Я буду ждать возвращения «Вираго» еще неделю. Это предельный срок. Если «Вираго» не покажется на горизонте или придет без депеши о войне, независимо от этого я исполню волю лордов адмиралтейства и захвачу «Аврору».

Депуант растерянно покосился на Прайса и чуть приподнялся с дивана.

– Может быть, сделать это, – промолвил он, – не на рейде? Перу нейтральная держава... Может быть, вытащить «Аврору» в океан?..

– Каким образом?

– Я полагал созвать совещание фрегатских медиков. Пригласим русских. Решим, что оставаться в Кальяо нельзя: желтая горячка угрожает экипажам. Симулируем несколько случаев на наших судах. Русские выйдут вместе с нами.

– Хорошая мысль, адмирал! – удовлетворенно заметил Прайс.

Депуант поднялся с дивана и пошел к дверям. Но на полдороге остановился и, обернувшись к провожавшему его Прайсу, спросил:

– А что, если все-таки в Европе тихо, если там решили не воевать, а мы... здесь? А?..

– Этого не может быть, – усмехнулся Прайс. – Я никогда не забываю вещей слов Пальмерстона: «Как тяжело живется на свете, когда с Россией никто не воюет!..» Да... Отбросьте всякие сомнения!

Забывтый край

I

Весть о войне докатилась наконец и до Петропавловска-на-Камчатке, но о возможности нападения на столь отдаленный полуостров мало кто думал.

Здесь о войнах знали только понаслышке: войны начинались где-то далеко, за тридевять земель, и не затрагивали маленького поселения внутри Авачинского залива. О начале военных конфликтов здесь нередко узнавали после того, как правительства воюющих держав уже подписывали мирные договоры, и радовались миру в дни объявления новых войн.

Далекая, заброшенная земля...

Военным судам здесь нечего делать. Война и на этот раз должна пройти стороной. Притивные укрепления, возводимые сейчас по приказу камчатского губернатора Завойко, простоят без надобности, зарастут травой и папоротниками...

Так думали обитатели Петропавловска. Опасения нескольких беспокойных натур не меняли общей атмосферы и умонастроения камчатцев.

Поэтому поздним вечером на исходе мая 1854 года в доме Завойко было, как обычно,людно и весело. После однообразия зимних месяцев, которого не замечали только торговые люди да охотники, наступила самая оживленная пора. В порт пришел долгожданный транспорт с мукой и мелкие купеческие суда. Курьер из Иркутска привез почту и старые петербургские газеты. От них шел запах уже не типографской краски, а кожаных почтовых мешков и лежалой бумаги.

В Петропавловской гавани наступило весеннее оживление. Изголодавшиеся за зиму жители расхаживали по берегу, по длинной песчаной косе, с жадным любопытством наблюдая за разгрузкой судов. Транспорт из Аяна привез трехпудовые кули крупитчатой муки, листовой табак, сахарный песок, патоку и чай. Матросы сгружали провиант в портовые склады, и население города: жены чиновников, служащие инвалидной команды, нижние чины сорок седьмого флотского экипажа, писари и вестовые – не уходило до наступления темноты. Завтра они смогут купить кое-что в провиантской лавке и наесться наконец досыта.

Просторная зала губернаторского дома была ярко освещена. Только запущенные хоры и антресоли прятали в полумраке тонкие резные перильца, отчего помещение казалось очень высоким. В медных, отлитых в Петропавловске бра, прикрепленных к дощатым стенам, в подсвечниках на столах оплывали свечи.

Вечер начался давно. Молодежь уже не раз пускалась в танцы под звуки маленького оркестра, мешавшего карточным игрокам и унылым ханжам, без которых не обходилось ни одно, даже самое маленькое, общество. Давно образовались небольшие кружки собеседников, друзей, партнеров.

В дальнем углу, на низком диване, скрытом от глаз стульями, сидел Василий Степанович Завойко в обществе капитана транспорта, шкипера, портового инженера и нескольких чиновников. Отсюда доносился громовой хохот капитана, так смеются только моряки, привыкшие к ветру и шуму моря, счастливые удачным окончанием плавания. Смуглый красавец, с усами тонкими, в один волосок на концах, ловкий и вполне сознающий свою силу, капитан был возбужден всей атмосферой провинциального бала после нескольких недель плавания в холодном океане, с пронизывающими ветрами и мертвыми туманами. Капитан тоже не верил, что Петропавловск может затронуть война.

– Чепуха! – говорил он, весело поблескивая зубами и накрывая бронзовой рукой острое колено Завойко. – Уж поверьте старому волку: пустое – все эти угрозы и серьезности! Я Восточ-

ный океан исходил вдоль и поперек, видел, знаете, англичан и французов в разных позициях, но чтобы дело дошло здесь до правильной кампании – нет, батенька, руки коротки, рукава не пустят! – Капитан повысил голос, ему хотелось, чтобы и дамы, сидевшие у стены с высокими окнами, услышали его. – Ну, пришлют к вам несколько судов, пошумят, поворуют, не без того, конечно, – уж больно жадны! – страх наведут на местных дам – и прощайте! На юг, в объятия теплых ветров...

– В случае европейской войны, – сказал портовый инженер, мрачный педант с бледным, одутловатым лицом, вынужденный руководить сооружением артиллерийских батарей, но убежденный, что нападение на Камчатку исключено, – противнику пришлось бы иметь дело с неприступным Кронштадтом, с Севастополем. А наш несчастный край они могут оставить без внимания.

Завойко, окинув взглядом капитана и весь явно согласный с ним кружок людей, сказал в раздумье:

– Не знаю, господа... Однако, будучи предупрежденным, считаю своим долгом приготовить все для отражения неприятеля. Знакомы ли вы с Камеаеа Третьим, королем Сандвичевых островов? – спросил он неожиданно у капитана.

– Преоригинальнейшая личность! – охотно откликнулся капитан. Вольнодумец, наш друг, но черен сверх всякой меры. В Штатах его непременно повесили бы или продали на плантации.

– Похоже на то, – усмехнулся Завойко, – что Штаты хотят превратить Камеаеа в своего раба, не лишая его королевского титула. Островитяне давно уже в поте лица трудятся на Штаты и Англию. Весь груз сандалового дерева, сухого таро⁸, и кокосовых плодов отправляется на их склады. Завойко пристально взглянул на капитана транспорта. – Так вот, Камеаеа сообщил мне, что к нам летом нагрянет англо-французская эскадра. Это известно ему из верных источников.

– Не верю, – помотал головой капитан. – Гонолулу – Невский проспект Тихого океана. Там ежечасно возникают чудовищные слухи, невероятные предположения и никто ничего толком не знает. Канальи-купцы и китобой хотят посеять панику, чтобы обставить конкурентов. Материя простая...

Раздались нестройные звуки оркестра – трех скрипок, треугольника, турецкого барабана и самодельной балалайки, которая зазвучала неожиданно громко, не в лад со всеми. Капельмейстер, худой рыжебровый старик-скрипач из кантонистов, держал смычок в левой руке и дирижировал покачиванием головы. С особым подъемом исполняли местный танец, названный «восьмеркой»: танцующие пары вычерчивали затейливый узор, напоминавший цифру восемь. Эта веселая кадрили с бесконечными фигурами увлекала всех, от безусых юнцов до пожилых чиновников.

Единственной женщиной, недовольной тем, что оркестр слишком часто исполняет «восьмерку», была молодая жена петропавловского судьи Петра Илларионовича Василькова. Она приехала в Петропавловск полгода назад и все еще считалась здесь петербургской дамой. Дочери бедных чиновников, штурманов, многодетных камчатских священников и служащих Российско-Американской компании восхищались ее нарядами и совершенным знанием французского. Лицо ее красиво, но мелко, в нем есть какая-то суетливость. Василькова посматривала на рослого капитана транспорта, перехватывая его признательные взгляды. Чопорный супруг сидел далеко за ломберным столом, спиной к танцующим, сгорбившись и будто не замечая ничего вокруг себя.

⁸ Многолетнее растение, клубень которого употребляется в пищу.

Жена судьи еще не совсем освоилась со сложными фигурами местного танца, но капитан уверенно вел ее. Рука капитана крепко охватила ее талию, и молодая женщина кокетливо склонила голову.

– Какой причудливый танец! – сказала она. – Он напоминает мне старинный экосес или гроссфатер.

Капитан молча кивнул головой.

Он рассеянно слушал и думал о том, как хорошо после трудного плавания, после штормовой мглы кружиться в светлом зале с красивой женщиной, отдав себя музыке и согласному движению танцующих. В который раз он уже испытывал это ощущение в полузасыпанных снегом домах Гижиги, Тигиля, Охотска, в Петропавловске-на-Камчатке или в Ново-Архангельской крепости. Прекрасное чувство подъема и какой-то особой душевной ясности...

– Вам, должно быть, трудно в этой глуши? – спросил он женщину.

– Очень. – Она ответила капитану благодарным взглядом. – Такое безлюдье! Скука!

Они расстались на несколько мгновений, расходясь в стороны. Затем она продолжила:

– И самое страшное – люди втягиваются, привыкают к тупой жизни. И кто! Молодежь, чиновники – люди, родившиеся в Петербурге, в Москве... Это ужасно!

– Поживете – привыкнете, – сочувственно ответил капитан. – Полюбите нашу землю.

– Что вы! – искренне ужаснулась жена судьи. – Здесь люди опускаются! Их трудно отличить от простонародья, от прислуги. Взгляните на жену губернатора: миловидная, из хорошей семьи, а какая во всем простота, фамильярность! Родила десятерых и сама же учит, воспитывает, общивает. Ни приличных гувернанток, ни сведущих учителей!

Капитан посмотрел в ту сторону, где стояла его давняя знакомая – Юлия Егоровна Завойко. Она что-то говорила прислуге и спокойным взглядом своих добрых карих глаз провожала танцующие пары. Красивая женщина с темным пушком над верхней губой, она изяществом фигуры и тонкостью черт, как сестра, походила на Василия Степановича. Она показалась капитану очаровательной.

– А узость взглядов здешних! – продолжала жена судьи. – Сколько превратных понятий и ненужной жесткости! Губернатор – оригинал, но деспот, желающий казаться и справедливым и гуманным. В Иркутске, по дороге из Петербурга, мы познакомились с интереснейшей личностью. Англичанин, влюбленный в Россию. Настоящий ученый, он мечтал посвятить свою жизнь геогностическим исследованиям Сибири. В лучших домах Иркутска давал бесплатные уроки английского языка и вместе с тем находил время для ученых записей, дневников, ландкарт. Представьте себе мой восторг и радость моего супруга, когда господин Степлтон согласился сопровождать нас в Петропавловск, пожить у нас несколько лет... Он намеревался отыскать пропавшую экспедицию Франклина... – Здесь она перешла на шепот: – Степлтон был удивительным человеком. Он стрелял лучше всякого военного, обладал большой силой и, кажется, знал все, что может знать простой смертный... Знаете, как поступил с ним Завойко? Он сделал выговор моему мужу, подверг ученого унижительному допросу, отобрал его бумаги, ландкарты и глубокой осенью на ветхом португальском китобое выгнал из Петропавловска! Можете представить, что теперь напишет о России этот просвещенный англичанин!

Они остановились у открытого окна. В темноте угадывались неясные очертания тополей. Шумела молодая листва. Капитан вежливо поклонился и сказал, не скрывая охватившей его грусти:

– Я, сударыня, простите, поступил бы так же. Много их здесь шляется. Слишком много...

II

Среди танцующих выделялась одна пара. Кавалер, белокурый мужчина лет тридцати, был намного выше девушки, казавшейся рядом с ним маленькой и хрупкой. Титулярный советник

Анатолий Иванович Зарудный был, на первый взгляд, некрасив; девушка же, дочь петропавловского аптекаря, Марья Николаевна Лыткина, очень хороша, пожалуй, привлекательнее всех в этом собрании. На худом лице Зарудного все резкие линии: прямой, заостренный нос, круто нависшая над глазами лобная кость и запавшие щеки. А глаза серые, спокойные, пронизательные. Замкнутый, сосредоточенный на какой-то мысли, он казался человеком скучным, ординарным, и это досадное впечатление исчезало только при близком, душевном с ним знакомстве.

Машенька Лыткина забавлялась податливостью и беспомощностью Зарудного. Ее яркие, резко очерченные губы были сейчас полуоткрыты. Синие, очень большие глаза казались бы, вероятно, кукольными, не будь они такими озорными, лучистыми, то темными и грустными, то светлыми и насмешливыми. Длинное платье сиреневого цвета, перешитое, по всем признакам, из материнского наряда, плотно облегалo фигуру девушки.

Умолкли, взвизгнув напоследок, скрипки. Кончился длинный танец.

– Пойдемте в парк, – шепнула Маша, приподнявшись на носки. – Тут скучно и душно.

Не дожидаясь согласия Зарудного, она потащила его к двери, пробираясь сквозь толпу.

У дверей сидел почтмейстер Диодор Хрисанфович Трапезников. Он присел на краешек стула, наклонившись к выходу, как непрошенный гость, готовый всякую секунду ретироваться, встретив неодобрительный взгляд хозяина. Старомодный черный фрак, обильно посыпанный перхотью, лоснился. Крохотные глаза напряженно сверлили толпу, а грушевидный фиолетовый нос, казалось, оттаивал в тепле.

Зарудный поклонился ему, но почтмейстер не ответил, проводив внимательным взглядом – точно в первый раз! – молодого чиновника и Машу.

– Что за урод! – воскликнула Маша, когда они миновали переднюю. – Так и хочется потянуть его за нос!

– Диодор Хрисанфович Трапезников, – сказал Зарудный, – существо загадочное. Оригинал. Артистически молчит, ничего подобного я никогда не встречал.

Глаза Зарудного вскоре привыкли к темноте. Их обступили высокоствольные тополи, уходившие вершинами в темное небо. Громче лопотала листва, шумел густой кустарник, деревья подступали к неосвещенным окнам комнат, где спали дети Завойко.

Дальше парк густел, ноги мягко ступали в опавшие тополиные сережки, которых здесь никто не убирал. На маленькой площадке стояла гранитная колонна с крестом – памятник Берингу, основателю Петропавловска. Где-то рядом плескался ручей – он сбегал со склонов Никольской горы и пересекал парк на пути к бухте. В парке было прохладно, стоял запах прелых листьев, смешанный с крепким ароматом молодой зелени. Ветер нес с гор смолистый запах карликового кедра.

Маша опустила на садовую скамейку у гранитной колонны. Зарудный молча сел рядом. Девушка посмотрела на его лицо, еще более суровое в темноте, и сказала:

– Говорят, вы поете? Спойте мне, прошу вас.

Она взяла его за рукав, и Зарудный растерянно ответил:

– Я без гитары не пою. Голоса-то, собственно, у меня нет. Одна разве душевность.

Она знала, что Зарудный живет далеко, у Култушного озера, на северной окраине поселка. Но Маше доставляло удовольствие видеть, как послушен ей Зарудный, и она полшутя сказала:

– А если я вас попрошу сходить за гитарой? Право, Анатолий Иванович! А? Сходите, дружок!

Зарудный покосился на нее, встал, заслонив собой колонну и тонкий крест на ней.

– Что ж, извольте, – отозвался он просто, – схожу.

Маша растерялась:

– Нет, нет! Что вы! Не нужно! Я пошутила.

А Зарудный все еще продолжал стоять, глядя на нее в нерешительности.

– Мне холодно, – зябко повела плечами Маша.
– Я попрошу у Юлии Егоровны платок.
– Не нужно. – Девушка помолчала немного и вдруг спросила с неожиданной серьезностью: – Ваши родители живы, Анатолий Иванович?

– Да, – ответил он, недоумевая.

– Они пишут вам?

Зарудный замялся было, потом ответил с какой-то нарочитой твердостью:

– Им недосуг было грамоте научиться: все труды, заботы, беды... Лицо Зарудного сделалось замкнутым и неприветливым. – И старшим братьям тоже недосуг... На меня одного только и хватило пороху, с меня одного и спрос... – Он усмехнулся, заметив смущение Маши. – Но старики у меня преудивительные: умные, милые, в целом мире веруют только в бога и в титулярного советника Анатолия Зарудного.

Маше почудилась насмешка в тоне Зарудного, и она спросила с вызовом:

– А ведь, правда, я глупая, Анатолий Иванович?

– Что вы, Машенька! – Зарудный вдруг остро ощутил, что ему уже не восемнадцать, а скоро тридцать. – Вы простая и хорошая...

Но Маша настаивала:

– Глупая, глупая! Когда мы уезжали из Иркутска, я плакала навзрыд. Думала, что кончается жизнь. У каменных ворот за городом мне хотелось прыгнуть с возка и целовать землю. Все осталось позади – детство, подруги, светлая, прозрачная река. Разлуку с Москвой я почти не переживала – была девочкой. А тут словно оборвалось что-то, будто захлопнулась дверь и ржавые петли пропели: «Аминь, аминь...»

– Вы оставили там друга?

Маша запнулась. Наверху, в листве, речитативом запела птица: «Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у... чи-у-ичью видь-и-и-ти-у...»

– Да, – ответила наконец Маша. – Настоящего друга. Такого же сумасброда, как я, и лучшего из всех, кого знала в жизни.

– Вы так мало жили, Маша, мало видели!

– Потому и глупая. Из Иркутска уезжала рыдая, а здесь за полгода так привязалась ко всему, что и жизнь бы прожить тут не страшно. Глупый щенок! Ткнули его куда-то в чулан, кто-то сунул корочку – он и доволен, и рад, и повизгивает от счастья...

В такие минуты Маше до слез становилось жалко себя, и непонятная боль сжимала сердце.

Птица запела совсем близко: «Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у...»

Маша подняла голову и с каким-то упреком сказала Зарудному:

– Хоть бы прослезились над моей бесталанной судьбой, бесчувственный вы человек!

Зарудный усмехнулся и убрал упавшую прядь со лба.

– Вы напоминаете мне вот эту пичужку. Ее здесь зовут чавычулькой. Правда, похоже?

«Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у», – громко пела птица, будто торопясь подтвердить слова Зарудного.

– Странное название – чавычулька. Как вы находите? – спросил Зарудный.

– Очень, – согласилась Маша.

– Она прилетела к нам, чтобы объявить голодным людям, что идет чавыча – самая вкусная и самая крупная из местных рыб. Это радость рыбака. «Чавычу видела тут», – как бы говорит она изголодавшимся людям. Слышите? «Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у! «Народ верит, что вместе с ней непременно приходит чавыча. За Уралом ее, кажется, зовут «чечевицей», или «Тришку вижу»... Но это все не то. Только в нашем крае люди знают ее действительное назначение...

Маша задумалась.

– Как хорошо делать людям добро, – прошептала она, – приносить счастье... А какая она? Большая?

– Не больше воробья. Серая, с маленьким клювом. На шее белый галстук, а затылок, кажется, черный. Ее трудно рассмотреть – непоседа. А в общем, обыкновенная птаха.

Рука Маши взволнованно гладила кружевной воротник.

– Я хочу дружить с вами, Анатолий Иванович, – сказала она проникновенно. – Хорошо? И, не дав ему ответить, проговорила, по-детски повиснув на руке Зарудного:

– Я совсем озябла. Идемте поскорей к людям!

Зарудный покорно шел за Машей.

В темной листве раздавался хлопотливый речитатив: «Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у!» И Зарудному казалось, что чавычулька спешит за ними, перелетая с тополя на тополь, радостно тараторя.

III

В доме Завойко в такие вечера, как нынешний, обычно собиралось до ста человек, размещаясь бог знает где и как. Здесь бывали чиновники, инженеры, врачи, служащие казначейства, штурманские офицеры, презус и аудитор военного суда, офицеры сорок седьмого камчатского флотского экипажа. Прямой, открытый характер Завойко не допускал лакейства и раболепия, столь обычных в чиновном кругу.

Среди чиновников, уезжавших в Сибирь, было много так называемых «чудаков», натур самобытных, резких и определившихся, которых сторонилось нивелированное мещанское общество, стараясь сжить их со света. Романтики, оригиналы, фанатики науки, надломленные трагическими испытаниями, они в вечных поисках земли обетованной уезжали куда глаза глядят. Они легче других соглашались на поездку в далекий край. Людей, ставящих превыше всего форму, мундир, свое официальное положение, здесь было немного: англоман Васильков с темным, непроницаемым лицом игрока, обрамленным густыми темно-каштановыми баками; аудитор военного суда с розовой, моложавой физиономией, ненавидимый всеми офицерами Петропавловска; медлительный столоначальник канцелярии Завойко; маниак почтмейстер да несколько флотских офицеров, которые пристрастились к зуботычинам, пьянству и картам, не сумели, как говорил Завойко, «переменить галс». Этих Завойко охотно выгнал бы, если бы не крайняя нужда в людях.

В этот вечер разговор неизменно возвращался к войне в Европе. Даже за двумя ломберными столами говорили о Турции, о дунайских княжествах, о позиции европейских держав. Часто упоминалась турецкая гавань, доселе мало известная, – Синоп. Декабрьские и январские газеты, доставленные курьером из Иркутска, полны сообщениями о Синопе. Турецкая эскадра истреблена, уцелел один пароход. Из четырех с половиной тысяч экипажа спаслось меньше пятисот человек – людей искалеченных, раненых, подобранных среди обломков или вынесенных на берег. Четыре тысячи убитых! Это в несколько раз больше населения Петропавловска! Людям, не бывавшим в Кронштадте или Севастополе, невозможно даже представить себе размеры Синопского сражения. Знатоков слушали благоговейно, как оракулов.

Судья, ревниво наблюдая за женой – она теперь находилась в центре небольшого кружка флотских офицеров и звонко смеялась чьим-то шуткам, обменивался с партнерами новостями из давнишних номеров «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Северной пчелы».

– Англия по-прежнему сохраняет дружественные отношения к нам. Синопская победа еще раз покажет ей, что в лице России она имеет могущественного партнера...

– А не соперника ли? – подмигнул главный архивариус, раздавая привычным движением карты.

– Друга, достойного партнера, державу, могущую разделить бремя управления миром.

– По моему разумению, Англия предпочитает нести это бремя одна, – съязвил архивариус. – Не щадя, так сказать, живота своего.

– Европа принудит Англию считаться с нами. Австрия – наш друг. В Пруссии, близ Потсдама, второго января происходила большая королевская охота, на которую имел честь быть приглашенным генерал фон Бенкендорф. Король провозгласил тост за здоровье нашего августейшего императора, – сказал судья очень громко, обратив на себя внимание жены и заставив привстать почтмейстера, – за здоровье всей императорской фамилии.

– А Наполеона-то и забыли! Наполеона Третьего, племянника-с...

– Наполеон боится бунта, черни, – возразил судья.

– Э-э-э, напротив-с, – хихикнул чиновник. – Война – исключительно удобный случай: император французов пошлет бунтовщиков и смутьянов умирать. И овцы целы-с, и волки сыты-с! По горло, так сказать. – Он выразительно провел ребром ладони по дряблему кадыку с кустиками рыжеватых волос.

Васильков промолчал, и игроки углубились в созерцание карт, ограничиваясь мычанием и им одним понятными междометиями.

Жена аудитора рассказывала о новейших чудесах науки тому непременно кругу гостей, которые не соблазняются карточной игрой, не так просты и молоды, чтобы плясать, и находят болезненное удовольствие в созерцании соседей и сплетнях.

– Ах! – говорила она, закрывая глаза от охватившего ее трепета. – В Париже теперь только и толков, что о новом применении электричества к фортепьяно...

– Что за фантазия! – удивился столоначальник губернаторской канцелярии. – Электричество и музыка – материи несовместимые.

– Представьте, – продолжала аудиторша таким тоном, будто она сама только что наблюдала эти опыты, – если господин Лист начнет играть у себя на электрическом фортепьяно, соединенном посредством... – тут она сделала большую паузу, – посредством нити с подобными фортепьяно в окрестностях Парижа, то весь номер, сыгранный Листом, до малейшей ноты повторится и на других фортепьяно!

– Таким образом, – не унимался столоначальник, – вы утверждаете, что господин Лист, играющий у себя дома, может быть слышим одновременно в тысяче разных мест?! Но ведь это же спиритизм, сударыня!

Аудиторша возмущенно передернула плечами.

– Разрешите полюбопытствовать: из чего состоят чудодейственные нити, которыми соединяются фортепьяно?

Над этим аудиторша задумывалась так же мало, как над происхождением вселенной. Ее серое лицо побагровело.

Жена столоначальника незаметно ущипнула мужа.

– Впрочем, – сказал он, кашлянув, – кто знает, каких чудес мы дождемся от электричества.

Мир восстановлен.

В зале вдруг стало тихо. Порыв ветра донес до людей слитный шум ольхи и берез, скрип калитки и песню, которую пел высокий молодой голос:

Не слышно шума городского,
За невской башней тишина,
И на штыке у часового
Горит полночная луна.

– Кочнев поет. Артист! Второго не сыщешь, – сказал Завойко, когда звуки растаяли за окном и над залой опять повис гул многих голосов.

Судья неприязненно посмотрел на Завойко.

«Моего голоса небось не узнает в темноте. А мужика – изволь...» Но встретившись со взглядом губернатора, поспешно улыбнулся.

Во внешности Завойко не было ничего начальственного. Глаза, светлые, умные, внимательно смотрели из-под густых изогнутых бровей. Правая бровь всегда приподнята не то насмешливо, иронически, не то с готовностью слушать, понимать и удивляться. Василию Степановичу около пятидесяти лет, но выглядел он, как это нередко бывает с русыми энергичными людьми, много моложе. Его молодили солдатские усы, свисавшие двумя веселыми кисточками у рта, полные, подвижные губы жизнелюбца, светлые шелковистые волосы, выющиеся у висков и на затылке, высокий, спокойный лоб и чисто выбритое лицо добряка и насмешника. Роста он был невысокого, отличался подвижностью и поражавшей всех неутомимостью. Хотя жизнь Завойко прошла в трудах и заботах, годы еще не исчертили его лицо морщинами, не подернули желтизной голубоватую эмаль глаз. Края, где прожил детство и молодость Завойко: тонувшая в садах Полтава, Крым, Черное море, – надолго зарядили его живой, кипучей энергией. Еще и теперь, после двух кругосветных плаваний и четырнадцати лет службы в бассейне Охотского моря и на Камчатке, в нем иногда проскальзывали черты веселого полтавского бурсака, умеющего встречать беды с такой же шуткой, с какой и принимать чины и награды.

Сын обедневшего полтавского помещика, он не мог попасть в привилегированный Морской корпус и был произведен в офицеры из черноморской гардемаринской роты. Из находившихся в этой зале людей Завойко лучше всех мог бы рассказать об условиях и обстоятельствах синопского боя. Василий Степанович служил на Черном море, мичманом участвовал в Наваринском сражении, прекрасно знал парусный флот. Он много знал и прочно удерживал в памяти массу сведений самого разнообразного характера – по сельскому хозяйству и ремеслам, по морскому делу и точным наукам. Не чужд он был и поэзии, – в книжке «Впечатления моряка», изданной в Петербурге после русских кругосветных походов 1835—1838 годов, Завойко дал немало живых, полных юмора и искреннего чувства страниц.

Когда кто-то из гостей обратился к Завойко с расспросами о Синопе, о турках, не забыв при этом льстиво адресоваться к «ветерану Наварина», Завойко коротко ответил:

– Затрудняюсь оценкой. Победа выдающаяся. Обстоятельства же мне неизвестны.

– Василий Степанович! Помилуйте! Но турка-то вы знаете? Бивали?

– Давненько. – Завойко весело прищурил глаз. – В природе, драгоценнейший, все меняется. Даже турок. В Наварине, например, рядом с нашим фрегатом англичанин сражался. Плечом к плечу. А теперь, того и гляди, в гости пожалует и почище турка палить станет.

Андронников, здешний землемер, косматый, заросший старик, спросил протодиакономским басом:

– Значит, выставки в нынешнем году устраивать не будем?

Вот уже три года, как Завойко каждую осень проводит выставку овощей, поощряя тех, кому удастся вырастить самый крупный картофель, морковь или капусту. Вначале затея Завойко показалась поселенцам и камчадалам несбыточной, сумасбродной, но его настойчивость победила их предубеждение, а пятирублевая премия за лучшие результаты довершила дело. Уже в первый год была выращена морковь весом более четырех фунтов, картофель более фунта, только капуста не успевала войти в полный вес и силу. Завойко требовал от Иркутска присылки отборных семян, изготовлял в мастерских порта лопаты и другие простейшие орудия, обращался к населению с приказами по огородничеству, не ленясь переписывать их собственной рукой.

Землемер-философ любил потолковать о несовершенстве мира и законах бытия, а на «подпитии» витийствовал особенно красноречиво. Он, кажется, единственный из приезжих на Камчатке отваживался пить корякскую настойку из сушеного мухомора, не боясь отправиться на петропавловское кладбище у Красного Яра. Он любил свое дело, несмотря на годы, был

неутомим и неистощим в беседах. В юности, посланный в Германию для совершенствования в естественных науках, он слушал Шеллинга в Вюрцбурге, шатался по горам, пил густое баварское пиво, но не стал ни восторженным шеллингианцем, ни дуэлянтом-буршем. Он сохранил природный здравый смысл, презрел заоблачные выси немецкого идеализма и вернулся домой с ворохом рукописей, с опасными мыслями о живой природе и происхождении вселенной. Настаивая на историческом развитии организмов, он посягал на всемогущество бога, создавшего некогда землю и все сущее на ней по своему разумению, не доступному уму смертного. Мысли его были признаны кощунственными, богопротивными. Рукописи поистлели, молодой ученый в худеньком мундирчике чиновника одиннадцатого класса прозябал в каких-то уездных канцеляриях, начал пить, опускаться и не опомнился, как очутился на Камчатке. Сюда он прибыл с дырявой студенческой сумкой, в память о скитаниях по Альпам, в которой были десяток книг и тетрадей, а среди них и редчайшая книга его друга Якова Кайданова «Tetractum vitae»⁹, изданная в Петербурге в 1813 году. Злобы на людей в нем не было, но с годами выросло отвращение к ученым, рассуждающим по книгам.

Завойко молчал. Андронников сказал протяжно:

– Жаль! Лето выдалось на славу, а мы выставки-то устраивать не будем!

– Будем! – сказал Завойко. – Коли сами живы будем.

Андронников запустил руку в темную бороду.

– Я, Василий Степанович, умирать не собираюсь! Недовершил еще земного вращения.

Не то чтобы находился в зените... к горизонту клонюсь, однако расстояние порядочное.

– Знаю, что не от пули помрешь, Иван Архипович. Да и я не тороплюсь.

– Мудрено торопиться. Там, за чертой, путь бесконечный. А здесь, на земле, други мои, долго ли до предела! И на сей срок быстротекущий разные феерии устраиваются. Вдруг Европа к нам, азиатам, припожалует, а? – Землемер удивленно тряхнул головой. – А может, минет чаша сия?!

Завойко развел руками.

– Молюсь о том денно и ночью. Но и трудиться нужно неустанно. Если не услышит Господь нашей молитвы и англичанин явится в гости, надобно встретить. По уставу. С огоньком и гостинцами, – Завойко засмеялся. – А с выставкой все может устроиться. До октября не близко...

В залу вошел камчатский полицмейстер, коренастый поручик Губарев. Он щурился от яркого света, отыскивая взглядом губернатора.

С появлением полицмейстера разноголосый шум поутих. Многие смотрели в его сторону, хотя во внешности Губарева не было ничего примечательного, а по званию он уступал многим находившимся здесь офицерам.

Губареву нравилось общее внимание: он приветливо улыбался дамам, отвечивал поклоны чиновникам, а встретясь взглядом с судьей Васильковым, многозначительно кивнул ему.

– Ваше превосходительство! – Губарев стал навтыяжку, увидев приближавшегося Завойко. – Позвольте рапортовать: с вверенными мне нижними чинами прибыл из вояжа!

– Пойдемте-ка, пойдемте, – бросил на ходу Завойко и прошел через прихожую в кабинет.

Губарев четко повернулся на каблуках и последовал за ним.

Час назад полицмейстер Губарев в сопровождении четырех казаков вернулся из Гижиги – далекого северного пункта, подчиненного камчатскому губернатору. Завойко приказал ему произвести следствие по делу гижигинского купца Трифонова. Обосновавшись в Гижиге, на пути из Охотска в Камчатку, Трифонов грабил коряков и эвенков, чинил «суд и расправу», как князек, своей властью. Его дюжие молодцы-приказчики совершали настоящие военные набеги

⁹ «Четвертичность жизни».

на камчатские селения. Где появлялись они, там уже не существовало ни закона, ни губернаторской власти. Старший приказчик Трифонова, из беглых каторжников, спаивал охотников, раздавал камчадалам яды для запретной, опустошительной охоты на пушного зверя.

Разбой Трифонова грозил восстановить против русских население отдаленных камчадалских острожков, а в условиях надвигавшейся военной грозы это было опасно и нетерпимо.

Завойко давно воевал с Трифоновым, но до сих пор ничего не мог поделывать с богатым купцом. Запойный гижигинский исправник потворствовал купцу, а в самом Петропавловске влиятельные чиновники помогали Трифонову прятать концы в воду. Завойко нюхом чуял неладное, неудачи бесили его, а праздное любопытство чиновного люда и офицеров подливало масла в огонь.

Наконец терпение Завойко истошилось: титулярный советник Зарудный, вернувшийся ранней весной, еще на собачьей упряжке, из поездки в Верхне-Камчатск, доложил губернатору о новом злодействе Трифонова: его приказчики споили и начисто обобрали большое селение в низовьях реки Камчатки и сожгли две избы. Полицмейстер получил предписание отправиться на место и, если обвинения подтвердятся, взять Трифонова под стражу и доставить в Петропавловск.

– Давно прибыл? – спросил Завойко, едва Губарев закрыл за собой дверь.

– Только что. – Но заметив, что взгляд Завойко скользнул по его чистенькому мундиру, Губарев поспешно добавил: – Домой заглянул, жена совсем плоха...

– Что Трифонов? – Завойко одолевало нетерпение.

– Осмелюсь доложить: не нашел я Трифонова. – Брови Завойко удивленно поползли вверх, и Губарев, как всегда, оробел. – Больше недели ждал купца в Гижиге, дорогой искал – все напрасно. Уехал-с. Жена говорит – к чукчам, за оленьими дохами; торгующий американец тамошний уверял меня, что в Иркутск – с золотом и мехами. Поди разберись. – Полицмейстер пожал плечами.

– Ну-с, а как следствие, голубчик? – спросил Завойко, темнея и поматывая головой. Он знал, что весть о новой неудаче быстро разнесется среди чиновников.

– Проведено-с, ваше превосходительство. По всей форме-с... – Полицмейстер опасливо поглядывал на Завойко. Он боялся этого короткого поматывания головой, высоко взлетевшей брови, маленькой руки, барабанившей по столу. – Селение ограблено, дома сожжены. Однако решительно невозможно сказать, кем это сделано. Местные жители затрудняются точным ответом.

– Запугал их разбойник, нож к горлу приставил – вот и затрудняются! – Василий Степанович досадливо поморщился. – Посади Трифонова на цепь, такое заговорят – уши заткнешь.

– Не могу знать-с. Трифонов не один, ведь кругом купцы... Брагин, Копылов, Бордман, Чээз. И Жерехов, надо полагать, не без греха. Поди узнай.

– Чертовщина какая-то... – Завойко придиричиво оглядел полицмейстера. – А ты точно ли все вызнал?

– Смею надеяться – все, – обиделся Губарев.

– Обиды, братец, оставь, – зло накинулся на него Завойко. – Ты небось ворох бумаг привез, а на что они мне? Трифонова мне подавай, приказчика его, каторжника Скосырева, в железах приведи. Слышь, Губарев, – губернатор погрозил ему кулаком, – я этак погляжу, погляжу на тебя, да и выверну, чего доброго, наизнанку. И на мундир не посмотрю.

– Виноват-с, виноват-с, – монотонно повторял Губарев.

– Уж больно охоч ты виниться. Ладно! – прикрикнул Завойко. Кликни-ка мне Луку Фомича, да и сам с ним возвращайся. Зря ты его к воровской компании присчитал.

– Луке Фомичу почтение, – небрежно обронил полицмейстер, найдя в зале сурового с виду старика. – Василий Степанович к себе просят.

Купца этого Губарев не любил, но побаивался его языка, завидовал деньгам, жене – третьей по счету, – светловолосой и пышной, как сдоба, завидовал изобильному дому Жерехова. Семейная жизнь сложилась у полицмейстера неудачно: еще в Петровском заводе взял он в жены, карьеры ради, стареющую дочь своего полкового командира; ждал быстрого продвижения по службе, а тесть возьми да и застрелись, не оставив своей многочисленной семье ничего, кроме большого карточного долга.

Чувствительный, охочий до дородных барышень, Губарев увидел вдруг, что жена его и стара и костлява сверх всякой меры. Винил ее во всех своих неудачах и бил нещадно, с упоением, бил трезвый и пьяный. Жена терпела молча, рожала ему детей, таких же глуповатых и злых, как их отец. И если полицмейстер, беспокояно помаргивая, впивался взглядом в привлекательное женское лицо и, постанывая, повторял свое любимое словцо: «Обремизился! Обремизился!» – то сослуживцы знали, что он злобится и вспоминает оставшуюся дома жену.

Губарев пропустил в кабинет статного старика с длинной, жилистой шеей, на которой сидела небольшая голова; улыбочатое скоморошье лицо, ровный венец седых волос вокруг желто-белой лысины и такая же пегая редкая бороденка клинышком.

– Вот что, Лука Фомич, – сказал Завойко, усадив гостя рядом с собой, – задумал я капиталом твоим распорядиться. А?

– Чужими деньгами куда как легче распорядиться. – Жерехов широко улыбнулся, но маленькие глаза смотрели остро, пронзительно. – У чужих денег крылушки, у своих гиришки.

– Открывай дело в Гижиге, – Василий Степанович коснулся рукой горла, – вот как надо...

– В Гижиге? – поразился Жерехов и на всякий случай сказал: – Стар я, Василий Степанович, куда мне в этакое логово...

Жерехов лучше Завойко знал Гижигу. Сорок лет провел он на чукотской земле, на Охотском побережье и в Камчатке. Знал волчьи повадки Трифонова и хитрость Бордмана – торгового американца из Бостона, обосновавшегося в устье Пенжинской губы.

– Хватит еще силенок, – усмехнулся Завойко. – Ты, Лука Фомич, жилистый, совладаешь.

– Негоже двум клыкастым в одной берлоге. – Купец весело тряхнул головой. – Глядишь, и шерсть клочьями полетит, вам же, Василий Степанович, и накладно будет.хлопотно.

– Трифонова боишься? – в упор спросил Завойко.

– Не дюже боюсь, но и одолеть не надеюсь. – Он повернул голову к неподвижно стоявшему Губареву и, насмешливо прищурился, сказал: – Чины сколько лет Трифонова воюют, а не одолеют...

– Одолеем! – властно сказал Завойко. – В тюрьме сгною, подлеца, не посмотрю, что первой гильдии купец. Такое мое условие, Лука Фомич: на чистое место придешь, льготы дам, откуп винный... на первое время. По рукам, что ли?

Жерехов насторожился. Лицо его странно вытянулось, стало постным, неприветливым.

– Не охоч я, ваше превосходительство, до откупов, – пегая бороденка обиженно задрожала. – Для такого дела и Трифонов куда как хорош. А меня от такой чести уволь.

Завойко неосторожно задел самолюбивого старика. Сорок лет торговал он в этих краях, торговал широко, прижимисто, но без волчьей жадности и приказчиков старался держать совестливых. Был для своего круга учен и охотно учил других, так что в камчатских селениях встречались люди, обязанные ему грамотой. Выписывал из столиц журналы, газеты и в большой горнице собрал изрядную библиотеку. Камчадалы и коряки издавна привыкли к Жерехову, относились к нему с доверием, но в последние годы он как-то потерял вкус к делам. Женившись после второго вдовства на молодой, привлекательной дочери священника из Якутска, старик словно прирос к дому, строго приглядывая за своим единственным сыном Поликарпом.

– Это так, к слову, про откупа, – извинился Завойко. – Гижиге просвещенный купец нужен, темноту поразвевать...

– Право, согласились бы, Лука Фомич, – услужливо вставил Губарев.

Жерехов покосился на щеголеватого полицмейстера, на его жадное, землисто-серое лицо и сказал решительно:

– Нет, миновали мои лета.

– Меняй вывеску, Лука Фомич, – посоветовал Завойко. – Расширяйся! «Торговый дом Жерехов и сын».

– Поликарп-то?!

Жерехов давно подумывал о том, что пора пристраивать куда-нибудь сына. На этот счет у Луки Фомича были твердые взгляды. «На стороне жизнь шибко человека правит, – говаривал он. – Рыбу в реку бросают, а человека к людям. Барахтайся, плыви посмелее... Смелый приступ – половина спасенья!»

Но купцу не хотелось, особенно при Губареве, обнаружить свою заинтересованность, и он только покачал головой.

– Зелен Поликарп-то мой. Ду-у-рак дураком!

– Не беда, – ободряюще сказал Губарев. – Был бы делу обучен изрядно, а без ума прожить можно.

– Неужто? – переспросил купец удивленно.

– Можно! – подтвердил полицмейстер.

– Во-от как? – протянул Жерехов. – А в нашем торговом сословии без ума никак не прожить. Подумаю я, Василий Степанович. Крепко надо подумать.

– Думай, Лука Фомич, – сказал Завойко.

Завойко отпустил и Губарева домой. Выйдя на крыльцо, полицмейстер простоял несколько минут в раздумье, заложив руки за спину и покачиваясь на носках.

Его тянуло не домой, а на пологий склон Петровской горы, к темной избе, где жила девушка-посельщица Харитина, приглянувшаяся Губареву еще тогда, когда она голенастым подростком шмыгала по дому Завойко.

Сойдя с крыльца, полицмейстер прокрался мимо освещенных окон в парк, пересек его и, перемахнув через ограду, медленно побрел в гору.

Было в повадках Губарева что-то кошачье, хищное. Он умел ждать, сторожко наблюдая за своей жертвой, умел целые месяцы, а то и годы жить одним лишь предвкушением будущих наслаждений и скотской власти над другим человеком.

За Харитиной он охотился давно, чутьем сластолюбца угадав еще два года назад, как расцветет она в недалеком будущем. И оттого, что все случилось так, как он и предчувствовал, Губарев считал свои права на Харитину неоспоримыми, а недоступность ее в доме Завойко только дразнила полицмейстера.

Но и после ухода Харитины из дома губернатора Губарев несколько не преуспел. Столкнувшись с открытой враждебностью девушки, он поостыл было и постарался выбросить ее из головы, да, видимо, это ему не удалось. Вскоре он возобновил то, что называл «правильным преследованием». Со злобной, жестокой настроенностью ждал он какой-нибудь ее оплошности, чтобы добиться своего.

IV

Ветер разорвал медлительные ночные облака, открыв их серые, мутноватые закраины. Луны не видно, но вокруг посветлело, и обширное пространство Авачинской губы стало отсвечивать тусклым свинцовым светом. Огромным зверем, с головою, прижатой к воде, и приподнятым для прыжка туловищем темнела Сигнальная гора.

Возле одного из домиков на пологом склоне Петровской горы, защищавшей Петропавловск с северо-востока, собралась группа людей. Никита Кочнев, Харитина Полуботько и ста-

рик Кирилл, денщик Завойко, сидели на низкой скамье. Другие – среди них камчадал Афанасьев и отставной кондуктор Петр Белокопытов, по прозвищу Крапива, – на тополевым бревне.

Никита Кочнев только кончил петь и прислушивался к наступившей тишине.

Старый матрос хлопнул себя по ляжке и проговорил голосом, в котором восхищение соединялось с какой-то непонятной болью:

– Соловей-птих! У-у-у-х, подлец, всю душу извел!

Возглас его прозвучал, как команда. Сразу поднялся шум:

– В Иркутске, в трактире, твоему голосу цены не было бы!

– В церковь шел бы, Никитка, – прозвенел насмешливый девичий голос. – Тогда девок из церкви за косы не вытащишь.

– Ну, ты, – степенно ответил Никита в темноту, – помалкивай, не твоего ума дело!

– Нешто и петь-то без ума нельзя? – засмеялась девушка. – А как же ты, Никитка?

Смех покрыл ее слова. Дед Кирилл потерев жесткую, рыжеватую от табака бороду, вытер рукавом слезящиеся глаза и прикрикнул фальцетом:

– Курица! Раскудахталась!

Смех стал еще громче. Но самолюбие Никиты было удовлетворено.

Только Харитина не шевельнется, не повернет головы, не обронит ни слова. Точно оцепенела от жалостной песни. Никита сидел рядом с ней. При каждом резком движении он касался ее плеча, но Харитина не замечала этого. Словно и нет на свете Никиты и не он сидит подле, напряженный, ждущий, а лохматый дворовый пес, которого и погладить лень.

Никита слышал дыхание Харитины, видел ее полуоткрытый рот и мягкую линию подбородка. Темные глаза уставились в какую-то точку на горизонте, шелковый, праздничный платок сполз на затылок. Темные волосы Харитины пахнут ромашкой и сухими травами. Будь на ее месте другая девушка, Никита знал бы, что делать: он поправил бы сбившийся на затылок платок, незаметно обняв девушку, а то и просто поцеловал бы в тугую, горячую щеку, готовый отпрянуть и перевести все в шутку. Но у Харитины рука тяжелая – это проверено некоторыми друзьями Никиты Кочнева, – а характер ровный, степенный. Ходили слухи, что и сам полицмейстер, поручик Губарев, заглядывается на нее, а тоже не знает, как подступиться. С ней не поозоруйешь!

Внизу, у порта, у недвижной глади внутренней петропавловской бухты, воют собаки. Собак здесь много, зимой только на них и ездят. У каждого хозяина на привязи по пятнадцати-двадцати псов. Они не лают, а воют, протяжно, надрывно, будто перед бедой. Этот вой отдается многоголосым эхом по склонам Петровской горы и удручает, пугает приезжего.

– Завыли, – заметил Иван Афанасьев. – Значит, скоро-скоро корабль придет.

– Верно, – согласился Кирилл. – Пес животного умная, даром надрываться не станет.

– А может, они лосося чувят? – высказал предположение Никита. – Ноне лосось идет – старики не упомнят! Об камни гремит, того и гляди запоры порушит. Собаки свежинку чувят...

Кирилл ответил не сразу. Прислушался, будто хотел проверить догадку Никиты, и после паузы решительно сказал:

– Нет, лосось тут ни при чем. Видать, судно придет – старая собака понапрасну не лает.

Все посмотрели на мерцающий вдали огонек Бабушкина маяка. Главный маяк, Дальний, высился при самом входе в Авачинскую губу – его не увидишь отсюда.

До чего же бело лицо Харитины! Не поддается оно ни весеннему солнцу, ни колючим камчатским ветрам. Светлое, гладкое, с розовыми мочками ушей, со смуглым пушком у висков.

– Молоканочка! – нежно шепчет Никита.

Харитину Полуботько называют молоканкой – на то есть своя причина, но для Никиты это слово обретает особый смысл, простой, осязаемый. Нежное, чуть подрумянившееся в печи молоко!

Харитина живет на Камчатке около десяти лет. В Петропавловск она приехала угловатой, пугливой девушкой, плохо понимавшей местный говор. Ее родителей, украинских крестьян, вместе с партией единоверцев-молокан выслали в Камчатку на поселение. Больше года добирались они до Восточной Сибири – вместе с переселенцами тряслись в телегах, шли пешком, голодные, замерзшие, сбивая в кровь ноги и потеряв надежду добраться когда-нибудь до места.

За Красноярском в таборе переселенцев началась холера. Люди умирали в пути, почерневшие трупы, завернутые в рогожи, тряслись в телегах в ожидании погребения. Озлобившиеся переселенцы не давали и молоканам хоронить своих покойников без церковного обряда, чтобы не лишиться надежды на милость Всемогущего. А сибирские мужики и жители промысловых поселков, назвавшие холеру «черной немочью», встречали переселенцев с дрекольями и топорами, не подпуская их к церквям. Под дым костров, зажженных ожесточившимися сибирскими мужиками, под густой, тревожный набат недостижимых церквей, лесными дорогами, далекой степью объезжали переселенцы деревни. Болезнь косила людей. В одну неделю Харитина потеряла отца, мать, маленького брата. Девушка осталась одна на подводе, запряженной тощей клячей, которой не дотащить и до Верхоленска, откуда начинался речной сплав до Якутска. Хорошо еще под Иркутском какой-то поп-фанатик, прорвав кордон мужиков, вооруженных топорами и кремневыми ружьями, пришел в охваченный отчаянием лагерь и отпел давно умерших там людей.

Никто не знал фамилии Харитины. В таборе помнили, что она принадлежит к группе молокан, почти вымершей от болезни. Поселенцы, которым посчастливилось добраться до Петропавловска, так и звали ее: молоканкой. С приездом семьи Завойко на Камчатку, в 1849 году, Харитина покинула маленькую хибарку, где она жила у матросской вдовы, и попала в губернаторский дом прислугой.

Харитина росла, годы брали свое, и она превратилась в привлекательную молодую девушку, такую же, какой была ее покойная мать в пору замужества, – крупную, белолицую, с затаенной в темных глазах печалью, с приятным, грудного тембра голосом. Казалось, она была довольна своей жизнью у Завойко, но когда года два тому назад на Камчатке возникла первая ткацкая мастерская, Харитина ушла в подмастерья.

В ту же пору вернулся к деятельной жизни отставной кондуктор Петр Белокопытов и получил свое новое прозвище – Крапива. Мальчиком попал он в ученики на Прохоровскую мануфактуру в Москве, там изучил ткацкое ремесло, потом был взят во флот. Тридцать лет прослужил на корабле, а к старости, разбитый ревматизмом, с отеками от сердечной хворости ногами, с дряблыми щеками, свисавшими, как у обиженного бульдога, осел на камчатском берегу. Он зарос седой щетиной от подбородка до лысой головы, и только закрученные кверху усы молодцевато торчали на усталом, отжившем лице. Старик заметил, как ловко орудуют камчадалы нитками из крапивы, попробовал крепость этой нитки и посоветовал Завойко наладить ткацкое дело, используя, за отсутствием льна и конопли, камчатскую крапиву, на редкость рослую и прочную. Это было последним поприщем потрудившегося на своем веку старика, последним делом жизни, за которое люди поминали его добрым словом, и он не терял времени даром. Крапива объезжал камчатские деревни, обучал женщин мудреным приемам ткацкого дела и организовал в нескольких больших деревнях ткацкие школы, из которых особенно славилась школа в селении Милково. Старик быстро научился отличать лучшие сорта крапивы и нашел способы для простейшего получения из нее волокон для пряжи. Из этой крапивы русские и камчадалы ткали вполне пригодное для белья полотно.

Завойко одаривал местным бельем приезжих чиновников и любил подшутить над ними, ошарашивая неожиданным признанием:

– А я вас, драгоценнейший, в крапиву одел. Ну-с, что скажете? Не кусается?

И заезжему чиновнику, скептику, который иронически относился к рассказам Завойко о местных ремеслах и гордился тем, что выписывал для жены из Парижа новейшие корсеты

без швов, начинало казаться, что камчатское белье покусывает, пощипывает, почесывает его нежное тело.

Петропавловск спал. Освещены были только окна в доме Завойко. Еще на противоположной, западной, окраине тускло светилось чье-то окошко.

– Никитка, – спросил Кирилл, – это кто огонь жжет, полуношничает?

– Почтмистер.

– Господин Трапезников как будто не у себя, а у Василия Степановича в дому-то, – усомнился денщик.

– Может, американ свечи жжет? У них американ горницу снял. Все ходит, думает, дымит, трубку изо рта не выймет: разве что сплюнуть или кумачом обтереться.

Слова Никиты о трубке уже повернули медлительную мысль старика в другую сторону.

– Сказывают, и табак на транспорте привезли? – спросил он жалобным голосом.

– И табак есть, да не про нашу честь, – пошутил Никита.

– Как так? – вознегодовал Крапива.

– Господский табак. Листовой, черкасский. И мука крупитчатая белая. Не разгуляешься.

Дед недовольно мычит:

– Неужто и в летнюю пору травкой пробавляться?

– Самая пора, – подзадоривал старика Никита. – Что травы, что листу на деревьях – сколько хошь. Ешь да попивай, да трубку набивай. На это и нашего жалованья хватит. Как думаешь, Иван? – обратился он к своему другу, камчадалу Афанасьеву.

– Жалованье наше по лесу бегает да в реке плавает, – ответил в тон Иван Афанасьев. – Можно и ржаной муки подождать.

– Можно, – согласился старый матрос. – Нам не в первый раз на аварийном довольствии находиться. А теперь свежий лосось пошел.

– Хорошо тебе, Крапива, что делов мало. Все ездешь, баб муштруешь. А коли с рассвету до темноты на батареях в земле копать, так что к ночи рук не чувствуешь. Лосось хоть и близко, а взять его надо.

– Бабу заведи, – резонно ответил Никите Крапива.

– Разобрали... хороших.

– Чем же Харитина не невеста?! Лучше и не ищи.

– Все девки в девушках хороши, – ответил Никита, – а отколь злые жены берутся?

Парни засмеялись. Харитина поправила платок и, прикрывая ладонью рот, равнодушно зевнула.

– Нужен он мне, беспокойный! – сказала она низким голосом. – Днем с друзьями язык чешет, ночью песни поет. Насмотрелась я на его работу!

Последние дни Харитина работала на дальней кладбищенской батарее. Она плела из прутьев каркасы фашин.

Никита нахмурился.

– Работы моей не тронь, – сказал он резко. – Моя работа при железе, там и суди меня. Что толку в земле копать? Всей земли не выберешь.

– Оттого и голодуем, что до земли охоты нет, – возразила Харитина.

– Мужичья работа! – упорствовал Никита.

– Известно, не каторжная. – Никита был сыном каторжанина с Петровского завода в Забайкалье. – Хлебная.

– Неужто мы на батареях рожь сеять будем? – усмехнулся Кочнев.

– Не люблю глупостей ваших, Никита Федорович, – сказала Харитина певуче.

– Вон сколько земли наворотили, валы насыпаем, – сказал Никита. – А разве укроет меня земля, если англичец с пушками объявится? Пустое!

– Не земля тебе, а ты ей защитник, – укоризненно промолвил Крапива. Ты и укрой землю грудью.

– Может, мне сподручнее на ровном месте, а ты меня в овраг гонишь.

Крапива ожесточенно потеревил седую щетину.

– Дурак! – озлился он. – Овраг грудью не прикрывай, а землю штыком защищай. Ты пушки не пугайся: пушкой землю нарушишь, а не возьмешь. Про штык думай... Трудно англицу супротив русского в штыки отважиться. Он мореход исправный, сноровистый, с кораблей палить будет. Таких куличей накидает – свету белого не взвидишь. Дома наши огнем возьмутся, людей железо побьет. А ты не пугайся – сиди, жди, штык наготове держи...

– А если англичец побросает ядер, а потом турка на берег пустит? спросил Никита.

– Турка? – переспросил старый матрос. – Ну, турок – другое дело. Не приведи господь ночью с турком встретиться.

– А что? – встревожился Никита.

– Не распознать его с черноты-то. Темен и больно лукав...

– Это ничего, – Никита ударил по плечу Ивана Афанасьева, – мы и ночью в глаз попадем, не оплошаем. Уж на что соболев умная животино, все лукавится, все норовит охотника умумазуму учить, а с нами встретится – и конец его лукавству...

Кирилл закашлялся по-стариковски, вздохнул, и, справившись с кашлем, сказал:

– Турок – жарких стран житель. Не решится он к нам. В нашем климате ему не жить.

– А не решится – и то ладно, – подхватил Крапива. – Англичей при корабле силен, в сухопутье он послабее будет. Хитростью возьмет, а силой и отвагой – ни!

Наступило долгое молчание. Было слышно, как шумит ветер в кустарнике, которым зарос весь склон, и поскрипывает настежь открытая дверь.

Кто-то осторожно, крадучись приближался к избе, на короткое время остановился, видимо, у глядевшего на гору оконца, и медленно обогнул избу.

Узнав полицмейстера, все поднялись и почтительно поклонились. Тоскливо сжалось сердце Харитины, и она старалась спрятаться за спину Никиты Кочнева. Губарев недовольно осмотрелся. Присмотрелся Кочнева, камчадала Афанасьева, отставного кондуктора Белокопытова. Озлобленно хмыкнул, услышав залихватистый кашель старого денщика Завойко Кирилла, которого никак не ожидал здесь встретить.

Спросил строго:

– По какому случаю сборище?

– Весну празднуем, – пошутил Белокопытов. – Новый хлеб. Поглядеть на него и то любо.

– Поздно! Поздно! – внушительно прикрикнул Губарев.

– Батюшки-светы, Сергей Сергеевич! – послышался голос отдышавшегося Кирилла. – Со счастливым вас возвращением из дальнего плавания! Чаю я, повоевали вы купчину?

Никто не увидел в темноте, как побагровел Губарев. Он только хотел было огрызнуться, как раздался громкий, почти радостный крик Харитины:

– Корабль в море! На «Бабушке» сигналият!

Она первая увидела условный сигнал с обсервационного пункта. Корабль еще находился в открытом море, и узнали о нем на «Бабушке» по сигналам Дальнего маяка. Сомнительно, чтобы кто-нибудь решился войти в Авачинскую губу безлунной ночью, при свежем северном ветре, разводящем волну и сильное течение в самой горловине входа. Нужно дожидаться света, чтобы по условным сигналам узнать, какой нации принадлежит судно, торговое оно или военное и, наконец, один ли корабль пришел к камчатским берегам или чья-то эскадра.

– Расходись по домам! – крикнул полицмейстер и стал вразвалку спускаться к порту.

V

Вскоре, несмотря на сигнал маяка, Петропавловск уснул.

Затихли голоса в губернаторском доме. На Никольской горе у порохового погреба задремал часовой.

Только в доме судьи Петра Илларионовича Василькова жгли огонь. Судья ждал гостей. Он снял мундир и облачился в длинный халат из вишневого полубархата.

Когда судья снимал очки, его лицо приобретало новое выражение. Появлялось в нем что-то беспомощное, жалкое, как у совы, ослепленной ярким светом. В глубоких складках, окружавших глаза, в неприятно темном, уже оплывавшем лице, в усталой grimase красивого рта чувствовалось многолетнее разрушительное действие пороков.

Никто не знал, какое диво привело этого человека на Камчатку, но нетрудно было догадаться, что только скандальный проступок мог забросить его так далеко.

Преуспевающий петербургский чиновник Петр Илларионович Васильков был замешан в деле известного казнокрада, фаворита Николая I, графа Петра Андреевича Клейнмихеля. Ведая в 1838—1841 годах восстановлением сгоревшего Зимнего, граф Клейнмихель присвоил баснословные казенные суммы из строительных смет, а затем прикарманил и сотни тысяч рублей, отпущенные на покупку мебели для дворца. Больше десяти лет запугивал и шантажировал Клейнмихель поставщиков мебели, но в 1852 году его шарлатанство открылось и на некоторое время над графом нависла угроза опалы. Пострадали только подчиненные чиновники Клейнмихеля, сам же граф Петр Андреевич вскоре был прощен. Клейнмихель помог и своим подручным избежать суда, но кое-кому, в том числе и Василькову, пришлось убраться подальше. Живя в провинции, они не теряли надежды на помощь и благоволение сиятельного и всеильного вора.

Чиновничий формуляр Василькова был чист и беспорочен: судья явился в Камчатку с превосходной аттестацией, и Завойко ничего не знал о его прошлом.

В Петропавловске Васильков держался независимо и опасался одного Завойко как умного и непреклонного начальника, по самому складу своему ненавистного Василькову. Судья был прирожденным стяжателем. На красивую жену свою он смотрел как на собственность; он купил ее у неимущей вдовы коллежского асессора. Собственностью были не только его дома или добро в сундуках, но и чиновники, подчиненные судье, и содержимое чужих кошельков, если их владельцы почему-либо попадали в поле его зрения. Васильков быстро приккнул к враждебной Завойко «партии» петропавловских чиновников; состояла она из судебных – гражданских и военных чиновников, столоначальника губернской канцелярии Седлецкого, главного лекаря Ленчевского, горного чиновника и немногих офицеров сорок седьмого флотского экипажа.

Около часу ночи раздался осторожный стук в окошко.

Васильков впустил в дом Губарева и гижигинского купца Силантия Трифонова. Казак, сопровождавший их, сразу же был отправлен на хутор Губарева, а принесенный им мешок Трифонов втащил в дом и положил к ногам судьи. Трифонов, тайком приехав в Петропавловск, просидел вечер в одной из горниц Губарева, прислушиваясь к тому, как бродит по дому и ворчит озлобленная на весь мир жена полицмейстера.

– Бью челом, Петр Илларионович, – пробасил Трифонов, но судья приложил палец к губам, и купец заговорил тише. – Вот, прими, от чистого сердца.

Он начал развязывать мешок.

– Ладно, ладно, – остановил его Васильков вялым жестом.

Трифонов уже вытаскивал из мешка шкурки песцов и соболей и, побрякивая, клал их на стол.

– Рухлядишки привез, денег, оленьих языков вяленых, – бормотал Трифонов. – Ничего не пожалею, Петр Илларионович. Защити меня, не дай растоптать...

– Уняться тебе пора, – проговорил Васильков, испытующе поглядывая на купца. – Явился бы к Завойко с повинной, авось поладили бы. Уступил бы... А?

Трифонов выпрямился, бешено сверкнул глазами из-под темных кустистых бровей и закричал:

– Ты Завойко не знаешь: уступи ему волосок – бороды не станет!

Васильков сказал грубо, с рассчитанным неудовольствием:

– Что у тебя еще стряслось, каналья? Попадешь с тобой в беду.

Будто по молчаливому уговору, все трое уселись за стол и принялись за штоф белого вина. Трифонов говорил много и много пил. Полицмейстер побрякивал, кивком головы выражая свое согласие с купцом.

Оказывается, камчадалы остались недовольны следствием Губарева и послали выборных к Завойко. Трифонов, уже со слов Губарева, рассказал и о том, что Завойко ищет подходящего купца для Гижиги, на его, трифоновское, пепелище. Вникнув в подробности, судья проговорил озабоченно:

– Н-да, круто заварил ты кашу. Судить тебя он, положим, не станет...

– Побоится разве? – с надеждой спросил Трифонов.

– Не подсуден ты ему. Купец первой гильдии! – объяснил Губарев.

Васильков усмехнулся и проговорил с расстановкой:

– А вот закует в железа и отправит в Иркутск.

Трифонов угрожающе поднялся.

– Как каторжника, в железах?!

– В железах, – спокойно подтвердил судья. – Ты, брат, поберегись, в голые руки не давайся. Вот с камчадалами забота! Хорошо, если к Седлецкому ткнутся: столоначальник – милейший человек, уж он им пропишет. А если минуют его, да с черного хода, к Завойко?

– Камчадалы – моя забота, – решительно сказал Губарев. – Эдакие подлецы, следствием моим недовольны! Не пущу я их в Петропавловск, Петр Илларионович. – Он продолжал шепотом: – Я казачий пикет у Сероглазок поставил, приказал отвести камчадалов на хутор. Одобряете-с?

– Весьма рискованно, – сказал Васильков, поглаживая рукой песцовую шкурку. – Весьма-с... А впрочем, одобряю. Двум смертям не бывать, одной не миновать.

И судья усмехнулся, вспомнив Петербург, грозу, нависшую было над ним, и пухлую, в перстнях руку Клейнмихеля, которую он лобызал в благодарность за чудесное спасение.

Властный стук в окно разбудил старика Жерехова. На заднем дворе надрывались, почуяв чужого, ездовые собаки; сторожевых псов здесь не держали, а эти были на привязи.

Как был, в длинной сорочке, старик вынырнул из-под пухового одеяла, раздвинул голубевшие в лунном свете занавески, за окном стоял Силантий Трифонов.

Самому себе не поверил Лука Фомич, наклонился, приблизил стариковские глаза к стеклу, разглядывая приплюснутую к стеклу волосатую физиономию. «Стало быть, Трифонов», – решил Лука Фомич, набросил на плечи халат и разбудил спавшего в соседней горнице Поликарпа, сказав ему коротко: «Поди открой гостю». Жерехов был непугливого десятка человек, но ночное появление Трифонова после давешнего разговора с губернатором встревожило его.

Принял он гостя в кабинете, уставленном светлыми, некрашеными книжными шкафами. Тут все было прибрано, строго, счетные книги аккуратной стопкой лежали на конторке... «И от спальни далече, – думал сонный Лука Фомич. – Еще разбудит Глашу, анафема».

Жерехов сразу заметил, что его гость пьян: на ногах Трифонов держался твердо, но вызывающе потряхивал львиной головой, а смоченные слюной губы кровянились под ярким

светом лампы. Поздоровавшись с хозяином, Трифонов огляделся, разметал полы синей суконной поддевки и, сунув руки за спину, изумленно проговорил:

– Экую храмину отгрохал! – Подошел к шкафу, постучал твердым, как орех, ногтем по стеклу так, что звон пошел. – А стекла-то! На все гижигинские избы достало бы.

– С чем пришел? – бесцеремонно спросил Жерехов.

– Не злобись, Фомич, с делом я к тебе. Винца приказал бы принести.

– Не пью я, – уклонился Жерехов.

– Знаю. – Трифонов странно, тонко хихикнул. – Сладкое любишь, силы бережешь. – Он тяжело плюхнулся на стул. – Береги, Фомич. – Свирепо взглянул на стоявшего в дверях Поликарпа и прикрикнул на него: – Сходи!

Отец молча кивнул, и Поликарп проворно сходил за вином. Парню нравился гость – сильный, кряжистый, хмельной; нравилось и то, как независимо разговаривает он с отцом.

– Беда у меня, Фомич, – заговорил Трифонов с пьяной горечью, кривясь от крепкого вина. – Злобится на меня Завойко, а я греха на себе не знаю: каждый грош потом-кровью полит.

– Много на тебе крови, Силантий, – сказал Жерехов сурово. – Пора бы и покаяться.

Трифонов тяжело согнулся, схватил полу стариковского халата, подергал ее и зычно закричал:

– Поп ты, Фомич, поп, а не купец! Денег у меня гора, ты и завидуешь! На старости лет в святые просишься, а сам в грехе живешь. Смолоду как куролесил!

Пегая борода Жерехова затряслась.

– Нет на мне чужой крови!

– И на мне нет! – Трифонов озорно раскинул руки и сверкнул белками глаз. – Все приказчики, душегубы, каторжники. Разве уследишь за ними, Фомич? Налетят, нагрябят – и-и поминай как звали. Пропьют добро, в тайники схоронят, а мне – оговор да злоба Завойки.

– Ты бы в острог их, в работы.

Трифонов наклонился к Жерехову.

– Убьют, – прохрипел в самое ухо. – Боюсь... – Он долго смотрел на Жерехова испуганными глазами. – Я вот так порешил, Фомич: гнать их в шею. Всех. Обойдусь. А ты помоги мне, сына в науку мне отдай. Главным приказчиком поставлю...

Поликарп все еще стоял у двери, босой, огромный, во всю раму больших дверей. Трифонов налил полную рюмку вина, встал и поднес ее парню. Видя, что отец и головы не повернул, Поликарп довольно улыбнулся, мигом опрокинул рюмку и вытер русые усы.

– Молод он, – ответил наконец Жерехов, сурово взглянув на сына.

– Бога побойся, Фомич! – притворно возмутился Трифонов. – В его лета ты какими делами ворочал! – Снова склонился к уху Жерехова. – Отпусти сына, слышь. Смотри, какую силищу нагулял! В доме молодая баба, белая, пухлая. Убрал бы его от греха...

Жерехов стремительно поднялся, по-змеиному выгнув свою длинную мускулистую шею, вскинул голову так, что Трифонов невольно подался назад, и отрезал гневно:

– Не для тебя сына растил, жила!

– А ты подумай, – издевался Трифонов. Он зашептал в самое ухо старика: – Бабы до молодого мяса у-ух как охочи...

– Прочь поди, жеребец, – наступал на него хозяин, сжимая кулаки.

Но Трифонов уже снова сидел и миролюбиво басил, отмахиваясь ручищами от вздыбившегося Жерехова.

– Прискакал к нам полицмейстер, поручик Губарев, – продолжал Трифонов, не слушая старика, – меня не нашел, раз-два, суд и расправу учинил, по воинскому артикулу. Чего мои ушкуйники не нашли, полицмейстеровы казаки откопали. Обглодали камчадалов до косточки – и поминай как звали. Оскудеют людишки – торговле конец. Полицмейстер! –

закричал он вдруг. – Боров! Хапуга! – И неожиданно рванулся к Жерехову. – Небось и Завойко берет? Берет, скажи?

Жерехов даже не ответил на это, только усмехнулся и головой покачал. «Так вот зачем он явился!» – подумал Жерехов.

– Быть того не может! – упорствовал Трифонов.

– Попробуй, – посоветовал Жерехов, – сунься.

– Заколоти за меня слово, Лука Фомич. Растолкуй ему. Никого слушать не станет – тебя послушает. Слышь, вразуми окаянного... И сына мне отдай. Как родного смотреть буду. – Подойдя вплотную к Жерехову, пьяно зашептал: – Изведут они тебя, Фомич...

Жерехов подошел к двери, молча оттолкнул сына, показал рукой на открывшийся проход и проговорил с достоинством, спокойно:

– Потолковали – хватит. Негоже мне на старости лет в злодейство твое путаться. Прочь поди, чтобы духом твоим нечистым не смердело. Не было у нас с тобой раньше согласия – не быть ему и вовек.

Проходя мимо Жерехова, Трифонов задержался, сказал угрожающе:

– Не был я у тебя. Слышь? Не приходил. – Затем повернулся к Поликарпу: – Прогонит папаша, ко мне прилетай. К настоящему делу приставлю, заживешь...

И сильно ударил его по литому плечу.

По дороге на Сероглазки, то всхвачывая, то злобно ругаясь, рассказывал Трифонов полицмейстеру Губареву о своем визите к старику. Но Губарев был недоволен. Сначала даже испугался.

– Озоруешь, Силантий! – выговаривал он купцу, прижимая левую руку к животу: кони шли резвой рысцой, и у Губарева, по обыкновению, больно екала селезенка. – Обремизишься с тобой...

– Заячьи вы души, служилые людишки! – смеялся Трифонов. – Все на один манер скроены: с просителем шибко, с начальством гибко. Не тужи, Сергей Сергеич, я и пьяный разума не теряю. Так честил тебя, так честил, будто два ворога только и есть у меня – ты да Завойко.

У Сероглазок они не нашли казачьего пикета и дальше погнали лошадей вскачь. Но тревога оказалась напрасной. Верные казаки Губарева, неоднократно к тому же соучастники разбойничьих набегов Трифонова, поджидали их на хуторе; камчадалы были схвачены еще с вечера и заперты в бане.

Светало. Губарев водил гостя по неровному, лежащему у самой реки двору, хвастался крепкими, минувшей осенью законченными постройками домом с затейливыми наличниками, коровником, сараями и другими службами.

– Жерехов, окаянный, книги за стеклом содержит! – кликушески закричал Трифонов, остановившись у большого, еще не застекленного окна. – Высокоумие свое показывает, а добродушному человеку окончины закрыть нечем...

– Супругу свою посели здесь, – сказал полицмейстер. – Живи, хозяйствуй, радуйся. И деткам тут приятно будет. – Он покосился на нахальную, ерническую физиономию купца. – Теснота у нас, сам видел...

– С постылой бабой и в поле тесно, – сочувственно поддакнул купец.

Губарев промолчал.

Купцу не терпелось ворваться в баню и по-своему расправиться с жалобщиками. Но Губарев решительно запротестовал. Камчадалы не должны даже и видеть Трифонова, иначе вся затея пойдет прахом. Полицмейстер приведет их в дом и прочтет составленную по всей форме бумагу, якобы от самого Завойко. («Там и тебе достанется», – предупредил он Трифонова.)

– Баловство, – разочарованно сказал купец, но подчинился.

В просторную, еще совсем не обжитую горницу привели трех камчадалов-охотников. Хмурый Губарев начальственно восседал за столом. Потребовал у охотников бумагу – челобитную губернатору. Их обыскали, но никакой бумаги не оказалось.

Полицмейстер беззлобно разглядывал ходоков. Неизгладимая печать нужды лежала на их лицах. Миновала зима и жестокая, непременно голодная весна, когда в пищу идет березовая кора, мороженые ягоды, с трудом отысканные под снегом, да гниющие рыбы остовы из кислых ям. Резко обозначились челюсти и скулы – кости, обтянутые смуглой сухой кожей. Камчадалы не ждали ничего хорошего.

Губарев вышел из-за стола с бумагой в руках и стал читать. Именем Завойко полицмейстер винил камчадалов в непокорстве, в злостных и неправых жалобах, в напрасной вражде к торговым людям. Корил, правда, и купцов за нечестные расчеты, обещал строгий суд над приказчиками. И в заключение назначал десять суток голодного ареста и большой штраф каждому, кто, минуя тойона и казачьего исправника, осмелится принести жалобу в канцелярию губернатора.

Ни один мускул не дрогнул на лицах камчадалов, они сохраняли все то же терпеливо-напряженное выражение. Один из них, низкорослый, хромой камчадал, изредка переступал с ноги на ногу – он еле держался на ногах после шестидневного перехода по сопкам, болотам и лесному бездорожью.

Камчадалы молчали. Полицмейстер спросил, потрясая бумагой перед самым их носом:

– Поняли все, каналы?

Хромой охотник с плоским коричневым лицом чуть приподнял голову и сказал отчетливо:

– Бить будешь. Опять бить будешь...

Правое ухо у хромого было изуродовано, словно смято медвежьей лапой или стянуто, как лист тлей, в безобразный комок.

Губарев досадливо махнул рукой.

– Стану я об вас мараться! Вот посидите десять дней под замком на воде и на хлебе, и все уразумеете.

Хромой тяжело сглотнул слюну, в темных глазах его мелькнула насмешливая искра.

– За хлеб спасибо, начальник, – сказал он спокойно. – Мы тут-ка хлеба давно не кушали.

– Ишь ты, шутник! – удивился Губарев и тяжело опустил руку на плечо охотника. – Моему хлебу не обрадуешься. – Он чувствовал под рукой костистое, но сильное, вздрагивающее от злости тело камчадала. – С казенной корочки жиру не нагуляешь...

– Отпускай нас домой, бачка, – тонким, срывающимся голосом взмолился седой бородастый охотник, стоявший между хромым и третьим камчадалом, помоложе. – Рыбу упустим – совсем помирать будем...

Полицмейстер погрозил ему в ответ кулаком.

– Отсидите срок, домой под конвоем отправлю, – сказал он строго. Деньги с вас возьму в казну...

– Нет у нас денег, начальник, – с угрюмым спокойствием сказал хромой.

– Небось соболь найдется?

– В лесу зверя дивно много, – упорствовал охотник. – А у нас все приказчик взял. Вот, все меха на нас...

Он поднял руки, чтобы лучше можно было разглядеть изодранную под мышками, лоснящуюся меховую куртку, из-под которой выглядывал подол серой домотканой рубахи.

– Я с тебя самого, братец, три шкуры спущу, – сказал Губарев, ткнув камчадала кулаком в подбородок так, что тот едва устоял на ногах. – Бери их, Максим! – приказал он казачьему уряднику.

По знаку Губарева казаки набросились на камчадалов, выталкивая их пинками из горницы. Хромой охотник цеплялся за дверной косяк и в неистовстве выкрикивал какие-то непонятные полицмейстеру слова. Налился кровью и совсем потемнел его худой, жилистый затылок с косицами жестких, давно не стриженных волос.

Через полчаса Губарев и Трифонов покинули хутор, оставив камчадалов под надзором бдительных подручных полицмейстера. Трифонов держал путь через Большерецк в Гижигу, а полицмейстер торопился в Петропавловск.

Ночной сигнал с «Бабушки» вызвал смятение и тревогу. Теперь в порту уже, вероятно, знают, какое судно пришло к камчатским берегам, и полицмейстеру надлежит находиться на месте.

Первый удар

I

Изыльметьев решил до визита на «Президент» съездить в Лиму, к русскому консулу.

Первое известие о неизбежности разрыва между великими державами командир «Авроры» получил в январе. Пятнадцатого января в сумерки фрегат вошел на рейд Рио-де-Жанейро, а через несколько часов Иван Николаевич уже читал в консульстве секретные депеши о военных приготовлениях. Хотя и находилось немало людей, смотревших скептически на возможность войны между европейскими державами из-за Турции, Изыльметьев принял это известие как заслуживающее серьезного внимания. Уже несколько месяцев газеты обоих полушарий пророчили войну. Французская эскадра давно ушла из Тулона в греческие воды. Адмирал Дондас, командующий британской средиземноморской эскадрой, курсировал между Мальтой и Константинополем. Еще до отплытия «Авроры» из Кронштадта стала известной активность североамериканцев в турецких водах. Петербургские газеты перепечатывали телеграммы из Кельна и Вены – в них прямо говорилось о тайном договоре, заключенном между Соединенными Штатами и Турцией, по которому Турция получает деньги и морскую помощь, а Соединенные Штаты – порт Энос в Румелии. Но если договор этот был бумажкой, сокрытой от всех глаз, то реальной, зримой силой являлись три американских военных судна в Босфоре, при турецком флоте, а сверх того еще фрегат «Сан-Луи» в Смирне и трехъярусный фрегат «Кумберленд», на котором правительство Соединенных Штатов послало султану восемьдесят миллионов пиастров.

Еще в Портсмуте Изыльметьеву и его офицерам пришлось убедиться в том, что многие газеты Европы рассчитывают на вмешательство Америки в европейские дела. Итальянская газета «Парламенто» в статье, которая была охотно перепечатана в Лондоне, писала о том, что «в 1840 году, когда был поднят египетский вопрос и совершено было нападение на Акку, правительство Соединенных Штатов безуспешно просило короля обеих Сицилий о временной уступке ему большого Сиракузского порта... Было бы несправедливо негодовать на эти устремления великой заатлантической нации или называть их нелепыми или смешными. Американцы, разумеется, не собираются завоевывать Восток и затевать сухопутную войну с Россией. Но если Англия и Франция пускают в ход свои лучшие морские силы, почему бы не делать того же американцам, особенно когда они приобретут морскую станцию – опорный пункт и продовольственную базу в Средиземном море?... Торговля и судоходство настолько расширили узаконенные сношения и связи между всеми народами земного шара, что теперь уже ни один народ не может считать себя чужеземцем в любом море старого или нового континента... По ту сторону океана англосаксонская раса, достигшая высоких степеней богатства, цивилизации и могущества, не может более мириться с тем скромным положением, которое было ей уделено в прошлом... Мы уверены, что американские военные суда, крейсирующие неподалеку от Дарданелл, не откажутся от своего права войти в них в любую минуту...».

Война казалась не только возможной, но и неизбежной.

В Кронштадте Изыльметьев не слыл политиком. Очень редко можно было услышать от него замечание относительно европейских дел. Человек скромный, он вступал в спор только тогда, когда мог сказать что-то дельное, подтвержденное собственным опытом и наблюдениями.

И теперь многое еще ему неясно. Когда разразится война? Кто мог ответить на этот вопрос? Может быть, она уже началась, и быстроходный пароход с депешами на борту спешит через Атлантику в Новый Свет. Хотя наступил век электрического телеграфа, век фотогра-

фии, химических спичек и других чудес, человечество еще в бессилии останавливается перед бесконечными водными пространствами. Какие-то фантазеры предлагают уложить телеграфический кабель на дно Атлантического океана или Берингова пролива. Газеты называют их сумасбродами, мечтателями, печатают о них заметки рядом со скандальной хроникой и происшествиями.

Может быть, слово «война» еще не прозвучало?

«Что бы ни происходило сейчас в Европе, – сказал себе Изыльметьев, мой долг – сохранить “Аврору”, защитить честь русского флага».

Корабли неприятеля разбросаны по всему миру. Суда основательной, крепкой постройки, с новым вооружением, с удобствами, которых нет на старых кораблях, наспех проконопаченных и подкрашенных перед выходом в море.

Горечь охватывала Изыльметьева, когда он мысленно возвращался в Петербург, в здание Адмиралтейства, в кабинеты сановников.

«Поймут ли когда-нибудь эти люди, осыпанные звездами и монаршими милостями, что России нужен большой флот, что русскому моряку тесно на старых, прогнивших судах? Слава нашего флота растет. Синопские громы потрясли Европу. Ныне только безмозглый ретроград станет твердить, что морское дело не с руки русскому человеку. Дайте ему новый флот, дайте линейные корабли, паровые фрегаты, пароходы, новую бомбическую артиллерию – и мир поразится уму и редкому умению русского моряка!»

В это Изыльметьев верил не менее твердо, чем в непреложные законы механики и баллистики.

Однако мечтать о том, чтобы «Аврора» выдержала бой с англо-французской эскадрой, стоящей в Кальяо, нелепо. Изыльметьев принял другое решение, которому следовал неуклонно после выхода из Рио-де-Жанейро. Необходимо выиграть время. Задача заключается в том, чтобы в любом пункте следования опережать известие о начале войны. Дешешу о войне, если она началась, везут не боги на огненных колесницах, а те же матросы на парусных или винтовых судах. Пусть к их услугам морская эстафета, пусть они имеют возможность, причалив к узкому перешейку, соединяющему Северную Америку с Южной, в несколько часов передать сенсацию через Панаму из Атлантического в Тихий океан, «Аврора» должна опередить ее и затеряться в океане до того, как на вражеских судах откроют орудийные окна и скамандуют: «Огонь!»

И «Аврора» не теряла попусту ни часа. Жестокие штормы обрушивались на фрегат, палубные доски расходились в пазах, обессиленная команда то и дело крепила не только марсели, но и нижние паруса, оставляя одни стаксели; перед входом в Магелланов пролив водяной вал снес со шканцев рубку, нактоуз и две шлюпки, но «Аврора» не сдавалась, не пережидала непогоду. В назначенный самим Изыльметьевым день она пришла в Кальяо.

Желтая лихорадка парализовала порт. Уныло бродили люди у портовых складов. На берегу горы ящиков с сахаром, хлопковых кип, тюки шерсти, штабеля медных брусьев. В порт уже который день не приходят коммерческие суда, напуганные известием об эпидемии.

Узкие вагоны местного поезда, соединяющего Кальяо с Лимой, уходили и возвращались полупустыми. Ими пользовались моряки, местные чиновники, городские служащие, которых необходимость заставляла покидать дома и тащиться в порт.

В окнах мелькало плоское побережье, пески и сланцы, изрезанные высохшими ручьями. Вдали, за пустынным плато, вставали сумрачные скалистые горы.

Лима крикливой раскраской домов, белыми тентами над окнами магазинов напоминала тропический город в полдень. Но апрельское утро было не жарким. Холодное течение, омывающее берега Перу, охлаждало воздух. Океан дышал ровно, окатывая берег мягкими волнами прохлады. На бульварах и в парках, у скромных отелей, под холщовыми тентами и навесами магазинов было очень мало людей.

Консула на месте не оказалось. Он выехал под каким-то предлогом на юг, в Мольендо.

Помощник консула, прибывший сюда несколько месяцев назад на бременском пароходе, не подал Изыльметьеву руки, сослался на недомогание. Лимфатический молодой человек с землисто-серым лицом, в мягких домашних туфлях, халате и ночном колпаке, из-под которого смотрели испуганные глаза, – он показался Изыльметьеву натуральным представителем чиновничьего Петербурга, серой песчинкой, неведомо какими судьбами занесенной с Васильевского острова в страну коричнево-оранжевых красок...

Из всех углов комнаты шел пряный аромат ванили.

– Перуанский бальзам, – поспешил объяснить чиновник. – Превосходное антисептическое средство. Добывается, кажется, из коры бобового дерева. Прошу садиться...

Он протянул вперед руки, измазанные какой-то темно-бурой жидкостью. Бальзам обильно разлит по всей комнате, и от этого, как и от цветущих в кадках растений, было очень душно.

Изыльметьев продолжал стоять и с недоумением смотрел на руки помощника консула.

– Вы бы окошко отворили. Духота какая!

– Извольте войти в мое положение... – Помощник неопределенно развел руками.

– С моря идет воздух чистый, здоровый. А так и впрямь заболеть можно.

Чиновник плотнее завернулся в халат.

– Извольте шутить, господин капитан. В воздухе носятся мириады бактерий.

Изыльметьев пожал плечами и перешел к интересующему его делу. Да, конечно, консул не забыл о них, тут среди почты есть бумаги, которые должны заинтересовать капитана... Помощник вытер о суконку два пальца и протянул ему несколько листов.

– Господин консул просил ознакомить вас с этим. Все весьма неопределенно: вы сами должны сделать верную оценку.

Расстегнув верхние пуговицы мундира и вытирая платком лоб, Изыльметьев пробежал бумаги. Ничего нового. Разрыв с Англией и Францией неизбежен. Известие может прийти со дня на день. И все же его нет. Вероятно, его нет и у англичан, иначе «Авроре» не пришлось бы стоять так спокойно на рейде... Сегодняшний визит на «Президент» должен многое объяснить.

Чиновник осторожно взял бумаги из рук Изыльметьева, чтобы случайно не коснуться его.

– Благодарю вас. Честь имею...

– Что ж так торопитесь? – помощник консула едва скрывал свою радость. – А я полагал надолго запасться новостями... Ах, Петербург, Петербург, город юности моей! Невский проспект...

Изыльметьев насупился.

– Вы бывали на Литейном, господин капитан?

– Нет, – насмешливо ответил Изыльметьев. – Я истый моряк, господин помощник консула. Родился на палубе, на палубе прожил жизнь. В крепостях бывал дважды: один раз – в Кронштадте, теперь – тут у вас.

– Вас встревожили бумаги? – Чиновник засуетился, заглядывая в глаза Изыльметьеву. – Признаться, и я... Хотя положение весьма неопределенное... Как поверить, что просвещенные христиане станут воевать на стороне Порты? – Молодого дипломата до сих пор сбивало с толку спокойствие капитана, а тут пришлось отвести глаза от его злых и гневно потемневших зрачков. – Однако же, несмотря на отдаленность, все симптомы... А поглядишь этак на английских офицеров – и вдруг отбросишь самое предположение о войне, как абсурд и отступление от разума. Я, знаете, наблюдаю их сквозь окошко, здесь мой наблюдательный пункт. – Лицо помощника оживилось. – Они смотрят совершеннейшими джентльменами. Неужто все это одна видимость?!

Изыльметьев распахнул дверь.

– И заметьте: они вовсе не боятся свежего воздуха, молодой человек! – бросил он насмешливо, выходя из комнаты помощника консула.

В открытую дверь смотрело синее небо и зелень консульского сада. Комната наполнилась резким криком птиц. Помощник консула бросился к двери, плотно закрыл ее и, окунув руки в тазик с бальзамом, облегченно вздохнул.

II

Офицеры, заполнившие обширную кают-компанию «Президента», не могли знать, что война уже началась, что обращение королевы Виктории прочитано парламенту еще 23 марта утром, а несколько часов спустя Луи Наполеон объявил о вступлении в войну Франции. Султанский фирман теперь подкреплялся нотами английской королевы и императора французов, одобренными обеими палатами. Через Атлантический океан к берегам Америки спешил винтовой фрегат с инструкциями соединенной англо-французской эскадре в Тихом океане. У берегов Панама дремал «Вираго» с погашенными топками. Он ждал депеш.

А в эту пору Прайс пристально всматривался в лица русских. «Тучный иеромонах, узколицый лейтенант, нарочито небрежный, юный мичман, пожирающий всех любопытными глазами, – все это просто и понятно, – думал Прайс. – Каждому из них я легко найду двойника на своих кораблях». Но Изыльметьев ставил его в тупик. Высокий, массивный, с мускулатурой атлета и с простодушным лицом фермера. Может быть, он имеет дело с ограниченным служаккой, с простаком? Что-то удерживало Прайса от поспешного приговора. Но что? Улыбка, мелькавшая на скуластом лице, убегающая в грубые солдатские усы? Едва приметная раскосинка, придающая особое выражение его глазам? Или натуральное радушие, столь резко отличное, даже по интонации, от наигранной любезности французов? Тяжеловат, но что-то в нем есть, что-то есть...

Депуант наполнил рюмки чилийским ромом. Француз был куда оживленнее, чем утром, во время беседы с Прайсом.

– Как долго господин капитан собирается пробыть в Кальяо? – спросил он. – Было бы жаль расстаться, не познакомившись как следует. Русские военные суда так редко покидают свои порты, чтоб осчастливить морскую семью знакомством...

– Русский человек привык к простору, господин адмирал. – Изыльметьев улыбнулся. – В чужих портах бывает слишком тесно. Могли ли мы ожидать, что даже в Кальяо, на краю света, окажется столько военных судов?

Депуант изобразил искреннее огорчение и даже всплеснул руками. Он спросил:

– Не собираетесь ли вы покинуть нас?

– Нет, мы задержимся в Кальяо.

– Надолго ли? – вмешался Прайс.

«Этот грубее, – подумал Изыльметьев. – Ему подавай сразу все начистоту, без особых учтивостей».

– Надолго. Будем поджидать здесь депеш. Чиниться. «Аврора» нуждается в серьезном ремонте. Князь Максудов – он у нас непогрешимый авторитет механики и корабельной архитектуры – мог бы подробно рассказать нам о повреждениях фрегата.

Изыльметьев, а за ним и все присутствующие посмотрели на Максудова. Капитан не забыл, как удивляла жителей Лондона безукоризненная английская речь Максудова, и заранее предвкушал эффект.

Но Максудов молчал. Кивком головы он подтвердил справедливость слов капитана и откинулся на спинку дивана.

Пока длилась пауза, Прайс изучал лицо Максудова. Князь! Порода сразу видна: строптив, самоуверен. Ему не придется в семьдесят два года утруждать свои кости далекими походами.

– Очень пострадал корпус фрегата, – продолжал Изыльметьев, не сразу отведя напряженный взгляд от лица Максудова, – кое-где нужно менять обшивку. Образовались пазы

в палубных перекрытиях, – при большой волне вода проникает в трюм. Да и такелаж изрядно потрепан. Приходит в ветхость наша «Аврора». Десять лет бессменной службы...

Прайс перехватил торжествующий взгляд Дебуанта.

– Всему свой черед, мой капитан, – произнес Дебуант проникновенно. Все уходит из этой юдоли печали... И нет ничего, что устояло бы против разрушительной работы времени в вечной смене приливов и отливов, подъемов и падений. И мы были когда-то молоды, – адмирал поднял руку плавным, театральным движением, – и наша жизнь всходила над синим простором океана, как всходит над миром прекрасная Эос!..

Обнажив десны в снисходительной улыбке, Прайс смотрел на декламирующего Дебуанта.

– ...«Аврора»! Утренняя заря! А мы приблизились к сумрачному рубежу. Ах, капитан, жизнь прожита, но познана ли истина? Мы уходим, завещая потомкам только два слова, в свою очередь оставленные нам древними: «Истина – в вине!» – Дебуант налил до краев рюмку Ионы. – Пейте, господа!

Изыльметьев вернулся к прежней теме:

– Как ни прискорбно, господа, мы еще с месяц простоим у этих унылых берегов.

Он повернулся к Александру Максутову, словно желая услышать подтверждение своих слов.

Лейтенант опять молча кивнул.

Краска залила лицо Пастухова, сидевшего рядом с ним. Мичман склонился к Максутову.

– Александр Петрович, ради бога! – прошептал он. – Простите меня, но ваше молчание невыносимо... Это...

Максutow лизнул языком пересохшие губы и отвернулся от мичмана. Мальчишка! Тоже, лезет с советами.

Разговор вели французы – Феврие Дебуант (изредка апеллируя к авторитету Прайса), тщедушный, туго затянутый в мундир лейтенант Лефебр, лейтенант Бурже, который держал себя настолько кокетливо, что можно было предположить присутствие женщин, спрятанных где-то за переборками каюты.

Говорили о лингвистических способностях русских, о новых паровых машинах, о Британском музее и электро-гальванических перьях, о несовершенстве лоций («Кстати, куда направляется “Аврора”? – спросил мимоходом Дебуант. – Не по пути ли нам? О, конечно, если это не тайна...»); о Сибири – «загадке России», об удивительном растении, живущем в любых условиях – и на камне и в деревянной стене каюты («У меня есть такая штука на “Форте”, – сказал Дебуант, – я буду рад сделать презент моим новым друзьям!»); о перуанском бальзаме, который, конечно же, должен стать достоянием всего цивилизованного человечества как по приятному аромату, так и по целительным свойствам! К слову, вспомнили и о желтой горячке.

Что за проклятье! Знает ли капитан, что болезнь уже проникла на эскадру? Да, есть случаи на «Президенте», на «Форте» и на бригае «Облигадо»... Хорошо бы собрать фрегатских медиков, подумать и сообща решить что-то.

– Если на «Авроре» пока все благополучно, – уверял Дебуант, – то это нужно приписать господней воле и благоразумию господина капитана, поставившего «Аврору» мористее других судов. Но нет никакой гарантии, что болезнь не перекинется и на русский фрегат.

Сообщение адмирала встревожило Изыльметьева. Оно было вполне правдоподобно: матросы, съезжающие на берег за свежими продуктами, могли принести заразу. А он ведь решил отправить на берег матросов за лимонами и живыми быками. Без этого не обойтись.

Изыльметьев заторопился на «Аврору». Но нужно, в свою очередь, сказать седовласым адмиралам что-то приятное и располагающее.

Все уже встали со своих мест, когда он сказал:

– Господа, я и мои друзья весьма тронуты любезным приемом. (Прайс учтиво склонил голову.) Совершеннейший боевой и исправный вид обеих эскадр, – продолжал Изыльметьев, –

достоин высокой похвалы. (Депуант порывисто протянул руку Изыльметьеву.) Нам иногда приходится бывать невольными свидетелями занятий ваших команд; артиллерийские учения, примерные высадки, свозы десантов, практикуемые вами столь часто, не могут оставить равнодушным сердце моряка. Во всем расчет, точность...

– Мы высоко ценим ваше мнение, господин капитан, – промолвил Прайс.

– Я не завидую тому, на кого обрушится все это, – так же невозмутимо говорил Изыльметьев. – Но к чему столь грозные приготовления здесь, в Перу?

Изыльметьев встретился глазами с Прайсом. Несколько секунд адмирал выдерживал испытующий взгляд, затем прикрыл глаза морщинистыми веками.

«Напрасный труд! – заключил он, ощущая растущую неприязнь к Изыльметьеву. – Он ничему не поверил. Нужно говорить проще, без околичностей. Сколь ни хитер русский, но раньше чем через десять дней ему отсюда не выбраться, а через неделю “Аврора” будет моя или... ее вообще не будет».

Все это мгновенно пронеслось в голове Прайса, и когда он опять встретился взглядом с Изыльметьевым, в острых глазах адмирала нельзя было прочесть ничего, кроме спокойной, непреклонной решимости.

– Ныне, – сказал он, смакуя слова, – после Синопа, над морским горизонтом возшла звезда России. Россия намерена стать великой морской державой, – это может не нравиться, но считаться с этим необходимо. Особенно тем, кого море кормит!

– России нет нужды становиться морской державой, – проговорил Александр Максutow сипловатым от волнения голосом, – она издавна является ею.

– Разве? – Прайс дивился не только дерзкому тону молодого офицера, но и его произношению – произношению юного тори, который во всю свою жизнь не вымолвил ни одного слова не по-английски. – Что же помешало нам заметить такой важный факт?

– Высокомерие, господин адмирал! – твердо сказал Максutow, вполне овладев собой.

– Но, будучи высокомерным, я говорю: русские могут гордиться Синопом... Подобной победы давно не знал ваш флот.

– Англичане и более того могли бы гордиться победой, подобной Синопу.

Капитан Паркер впервые открыл рот.

– Отчего же более? – спросил он вызывающе.

– Оттого, сэр, – запальчиво ответил Максutow, – что Англия почитается владычицей морей, но со времен отважного адмирала Нельсона английский флот не совершил ничего выдающегося.

Атмосферу разрядил Прайс. Пожимая широкую руку Изыльметьева, он сказал:

– Можете гордиться: вы воспитали истинных патриотов. Молодость, горячность, патриотизм – какие бесценные качества!

У трапа, пропуская вперед Максutowа, мичман Пастухов незаметно схватил его холодные пальцы.

– Простите... Здорово вы его!

– Чепуха! – ответил Максutow, не посмотрев на мичмана.

Трудно сказать, к чему относилось это восклицание: к спору ли его с Прайсом или к неуместным излияниям мичмана? Но Пастухов обиделся и еще раз густо покраснел.

III

Работы на «Авроре» не прекращались и ночью. Команда, измученная переходом вокруг мыса Горн, должна была в несколько дней сделать то, на что при других обстоятельствах ушло бы не меньше месяца.

Боцман Жильцов метался по палубе и трюмным помещениям с воспаленными от бессонницы глазами. Иногда в укромных местах он пускал в ход кулаки, но сдержанно, с опаской. Трудно приходилось Жильцову. Нужно было лавировать между Изыльметьевым и Тиродем. Помощник капитана относился к старшему боцману с деспотической придирчивостью. Он помнил то время, когда неутомимый Жильцов смело орудовал «кошкой», за малейшую провинность ставил матросов на ванты или привязывал к бушприту. Вынужденный во всем уступать непреклонности Изыльметьева, от боцмана Тироль требовал, казалось, невозможного – неподчинения нравственным правилам капитана. Понимал всю несбыточность этого и тем не менее негодовал на Жильцова, находя, что тот проявляет мало упорства и изобретательности.

Фрегат чинился по особому плану. Ремонт палубы, палубных надстроек и рангоута шел ночью. Днем палуба фрегата выглядела непривычно тихо, зато внутри судна стоял шум, даже некоторые работы по ремонту такелажа, которые ведутся на палубе с того дня, как человек поставил первый парус, были перенесены в душные жилые помещения. А марсовые с чужих кораблей следили за «Авророй» в зрительные трубы и, наверное, отстояв вахту, потешались в кругу своих экипажей над нерасторопностью аврорцев, все еще неспособных привести в порядок свой фрегат. Боцман понимал необходимость такой хитрости, и все-таки его донимала обида.

– Эх! Да разве так это делается! – говаривал он, злобно поглядывая на матросов. – Поставить бы «Аврору» поближе к англичанину и французу, свистать «всех наверх» и показать такой аврал, чтобы соседи ахнули! Вот тогда и поглядели бы мы на них! Нам и зрительной трубы не потребовалось бы...

Палуба «Авроры» оживала лишь вечером, когда звездный полог накрывал гавань, а чужие корабли обозначались редкими огнями, тусклыми в сравнении со звездами южного неба. Работали на палубе лихорадочно быстро, споро, без шума. Со шлюпки, подкравшейся к борту «Авроры», нельзя было бы понять, что делается на палубе.

Самолюбие аврорцев очень страдало, когда на фрегате появлялись гости. А они приезжали часто, по разным поводам и предложениям. Дважды являлся Прайс, смешно, как цапля, поднимая ноги, и Депуант, который обычно трепал по щекам гардемарин, улыбался и повторял единственное известное ему русское слово: «Дужок!» Матросы уже дали ему и кличку «Дружок», а вскоре и всех гостей, приближавшихся к «Авроре», встречали возгласами:

– «Дружки» едут!.. «Дружки» с правого борту!

С приближением «дружков» – офицеров, врачей, патера – Изыльметьев приказывал боцману привести в беспорядок палубу. Речь шла о пустяках спустить гордень, чтобы конец его болтался, расстелить старый, дырявый холст, небрежно бросить инструмент, а главное – следить за тем, чтобы матросы на палубе делали все не торопясь. Жильцов знал, что капитан хочет обмануть гостей, но привычка к порядку была сильнее доводов рассудка. Во время визитов он стоял где-нибудь в сторонке с красным, перекошенным от злости лицом.

Объединенное совещание фрегатских медиков тоже провели на «Авроре», хотя Вильчковский и сказал, что любопытно было бы взглянуть на английских матросов, больных горячкой. Мсье Гренье, медик «Форты», развел руками и, не скрывая своего удивления наивностью российского коллеги, объяснил, что на морских судах желтая лихорадка представляет собой смертельную опасность, особенно для человека белой расы, и потому, конечно, все больные свезены на берег, где и пользуются гостеприимством правительства Перу.

– Благодарение господу, что болезнь не распространилась широко! – Плутовские глаза мсье Гренье выражали неподдельный испуг. – Кто не знает, что на морских судах желтая горячка гнездится особенно охотно...

– Если только они не нагружены солью, – педантично вставил медик «Президента».

Мсье Гренье расхохотался.

– Солью!.. Господа, – смеялся он, – я думаю, не составляет секрета, что наши суда начинены порохом и ядрами, как праздничный гусь яблоками. Вот в чем соль вопроса!

Однако шутка француза была встречена зловещим молчанием.

В эти дни Перу трясла двойная лихорадка: желтая и военная. Перу воевала с Боливией. Но военные действия шли далеко в горах и мало занимали иностранных моряков.

Другое дело – желтая лихорадка! Она забирала больше жизней, чем пули и стрелы боливийских солдат, она угрожала судам, матросам, съезжавшим на берег. Но, несмотря на опасность, матросы появлялись на берегу: нужно было запастись свежими продуктами, в особенности мясом и лимонами, как хорошим средством против цинги.

Несколько матросов с «Авроры» – Афанасий Харламов, Семен Удалой, флотский первогодок Иван Поскочин, напоминавший своим длинным носом и немигающими желтыми глазами птицу, и черномазый Миша Климов – шли вдоль полотна железной дороги к городу Лиме. В Лиме они должны были дожидаться провиантского офицера и медика Вильчковского. Матросам дали денег на проезд из Кальяо в Лиму, но они решили пойти пешком, – через полтора-два часа они будут в городе, а деньги пригодятся для других целей.

По правую сторону железнодорожного полотна узкой лентой зыбились пески, за ними морщился океан, а слева тянулся рыже-коричневый глинистый грунт с щетиной кустарника и жестких трав. Лимонные рощи ушли в глубь страны, под прикрытие гор. Отсюда, с берега, они казались сплошной зеленой полосой, которую, словно старой медью, оковали подножие Анд. Высоко над землей парили орлы.

Иван Поскочин наклонился и, захватив ком земли, размял его на ладони. Бурый песок потек между пальцами. Поскочин покачал головой.

– Небось по земле сохнешь? – строго спросил Харламов.

Поскочин служил недавно и был подвержен тем приступам тоски по земле, которые слабеют только с многолетней флотской службой.

– Ху-у-дая земля! – напевно сказал он и добавил, вздохнув: – А все же лучше воды. На земле не утонешь, а умеючи и не пропадешь.

– Эх ты! – Удалой снисходительно улыбнулся. – Верно люди говорят: морских топит море, а сухопутных – горе! А горе-то, оно, брат, больше моря-океана. И злее.

Поскочин промолчал. Удалой хоть кого зашибет острым словом. С ним без особой нужды не стоит связываться.

Но разговор о земле у них, у вчерашних мужиков, не мог оборваться на полуслове, невзначай.

– Разве это земля? – сказал Миша Климов, сверкнув белыми зубами. Так себе, грунт. Сушь! На ней и рожь-то, поди, не вырастет.

– Пшеница вырастет, – заметил Афанасий Харламов.

– Мужику на сыть рожь нужна, – оживился Поскочин.

– А пшеница?

– А пшеница – на верхосытку! – пошутил Цыганок.

– Верно, братцы, – сказал Удалой. – Пшеница – невеста разборчивая, не ко всякому мужику в дом пойдет.

Долго брели молча. Разговор всколыхнул сердца матросов. Ни суровая служба, ни соленая купель, в которой они проходили свое второе крещение, не могли изгнать из души того, что наполняло ее от рождения и что составляло самую жизнь дедов и отцов. Вставала в груди моряка тоска по родной земле, подступала к горлу, теснила грудь. Эх, достало бы только сил раздвинуть скалистые горы – за ними непременно открылась бы русская земля, в ярах и перелесках, согретая ровным солнышком, налитая потом и слезами, горькая, желанная земля!

Изредка навстречу попадались люди. Они сумрачно смотрели вслед рослым, здоровым матросам. Кое-где двери лачуг заколочены досками, – там уже не было живых.

Особенно поразил матросов вид странных похорон.

Пожилой перуанец по обочине дороги вез на ручной тележке мертвое тело. Никто не смог бы сказать, кого он хоронит: мать, жену или взрослую дочь? Болезнь изувечила тело женщины, сделала его темно-бурым, покрыла язвами и струпиями, вздула живот.

Матросы постояли несколько секунд с непокрытыми головами. Выкатив покрасневшие глаза, мужчина напирал грудью на тележку и касался подбородком мертвого тела.

В какую-то секунду Цыганок хотел броситься на помощь перуанцу, но Удалой удержал его.

Отойдя на десяток шагов, Цыганок обернулся и проводил взглядом необычную похоронную процессию, повернувшую с пыльной дороги к холмам.

– Вот напасть какая! Трясовичка проклятая! – выругался Цыганок.

– Трясовичная болезнь от дочерей Ирода происходит, – сказал Харламов. – Двенадцать дочерей у Ирода, и каждая трясовичку или же лихоманку на людей посылает. Сами голые, трясет их так, что зубы зорю играют, волосы распущены до пят, с лица красавицы, а горя от них на земле – и-и-и! – Он сокрушенно махнул рукой.

Происхождение болезни фрегатский медик объяснял по-иному. Маленькие, невидимые существа попадают в кровь и причиняют боль человеку; их не увидишь и в зрительную трубу.

Рассказ Харламова проще и правдоподобнее. Удалой вспомнил: когда умирала в горячечном бреде его сестра Аксинья, в избу принесли икону искусной суздальской работы. На иконе двенадцать голых женщин с горящими глазами и распущенными волосами стояли у пропастей, а за плечами у них виднелись крылья. Святой архистратиг Михаил поражал их копьем, зажатым в правой руке. Теперь Удалой понял, зачем дочерям Ирода крылья: они разносят лихорадку по всей земле, обгоняя корабли, настигая человека даже в пустыне.

Но объяснение Афанасия Харламова плохо вязалось с болезнью Аксиньи. Тут дочери Ирода ни при чем, – разве что сам Ирод явился в обличье барина.

Аксинью взяли в господский дом за два дня до свадьбы. Взяли поздним вечером, а в избу принесли с рассветом, распростертую на конской попоне, в горячечном бреде.

Лежала она, потемневшая, жаркая, на белой простыне, вытканной в приданое. Не помогли ни бабка-знахарка, ни суздальская икона, ни немец-доктор, присланный барином. Шепнула что-то суженому своему неслышно, вздохнула и умерла. Жених Аксиньи поджег ночью господский дом и ушел. А Семен, чтоб не сделать греха, на год раньше срока пошел во флот, благо их губерния истари снабжала флот матросами. Немного погодя пришло в Кронштадт письмо, писанное рукой дьячка, о том, что Кондратий – так звали жениха – был приведен в Деревню силком и умер под батогами, «так что, слава богу, избавился от Сибири».

– Да, а еще, – продолжал Харламов, – помогает от трясовицы апостол Сисиний и святая мученица Феотиния-самаряныня. Она послабее будет...

В Лиме матросы не скоро дождались Вильчковского. Попав в городской лазарет и не найдя там ни одного больного с англо-французской эскадры, доктор удивился, но сразу же, забыв обо всем, увлекся наблюдениями над малоизвестной болезнью.

Матросы погрузили в вагон большую партию лимонов в светлых тростниковых корзинах. Иван Поскочин поехал провожатым, а его товарищи и в обратный путь отправились пешком, ведя на привязи трех черных перуанских быков.

На зеленой улице пригорода они столкнулись с английскими морскими стрелками. Солдаты королевы Виктории развлекались. Прямо перед ними стояла оливкового цвета женщина в лохмотьях, едва прикрывавших ее тело. Волосы свисали на лоб и щеки, скрывая красивые черты ее лица. Испуганная гогочущей толпой, она жалобно причитала по-испански и протягивала вперед дрожащие руки. Трудно было понять, просила ли она милостыню или защищалась от больших желтых плодов, которые бросали в нее и в двух смуглых девочек четверо бездельников. Вскрикивая, она проворно прятала лимоны под одежду.

Один из стрелков, стоявший рядом с Мишей Климовым, прицелился, зажав в кулаке золотистый плод. Цыганок перехватил взметнувшуюся руку и, рванув ее к себе, очутился лицом к лицу с удивленным стрелком. Его большие рыжие ресницы растерянно мигали.

– Сволочь! – процедил Цыганок сквозь зубы. – Я тебе брошу... погоди!

Стрелок понял не слова, а скрытую в них угрозу и бешено выругался. Его товарищи захохотали. Один из них, низкорослый малый, похожий на голенастого петушка, выскочил вперед и, задвигав кадыком, пронзительно закричал на ломаном русском языке:

– Рюсски мужик идет, корова ведет! Скоро рюсски мужик будет паф-паф... – Он сделал выразительный жест, будто прицеливаясь.

Стрелки одобрительно зашумели.

Удалой шагнул к горластому стрелку.

– Эх ты ж, нечисть!

Наклонившись, он ухватил его за ворот. Стрелок взвизгнул и бросился на Удалого. Семен неожиданно обхватил его, поднял в воздух и с силой посадил на костистую спину быка. Стрелок завыл от боли и припал к шее животного, ринувшегося вперед в густом облаке пыли.

Насупившись, Удалой оглядел стрелков и деловито спросил:

– Сражение будет? Что ж, давай померяемся!

Но стрелки передумали драться. Их теперь оставалось трое на трое, а возможность посмеяться над товарищем, вцепившимся, как клещ, в спину быка, была заманчивее драки.

– Пошли, – сказал Афанасий и зашагал по улице. – Догнать, Семен, нужно быка. Пропадет еще, тогда Пила жизни нас решит...

Пилой матросы называли долговязого, худого Тироля.

Удалой побежал за быком. Цыганок, оттолкнув локтем обидчика, показал на каменный забор, возле которого все еще сидела женщина.

– Аника-воин... С бабами сражаешься! погоди ты, я тебя пообломаю, паскуда!

IV

Раздражение Прайса росло. «Вираго» не возвращался в Кальяо. Правда, капитан «Авроры» как будто не торопился с ремонтом, но на море возможны всякие неожиданности, Прайс хорошо знал это. В поведении русского капитана много странного. Прайсу доносили, что Изыльметьев не обращался за помощью в портовую парусную мастерскую, хотя там имеются отличная пеньковая парусина и умелые мастера-перуанцы. Изыльметьев говорил, что боится занести на фрегат заразу и вообще не торопится, а потому может не спеша менять приведенные в негодность гроты, кливера и стаксели, используя свои запасы. В Лиме он не купил ни одного медного гвоздя, ни одного дерева для исправления рангоута, ни одного фута троса, – адмирал, шпионивший за русскими офицерами, знал каждый их шаг.

Но не собирается же «Аврора» стоять здесь вечность! Русским понадобились вдруг большая партия лимонов, бочонок перуанского бальзама, живые быки, запасы свежей зелени. Провиантские приготовления плохо вязались с медлительным ремонтом «Авроры», и это тревожило Прайса.

Совещание медиков не оправдало надежд Феврие Депуанта. Гренье рассказывал, что медик «Авроры» вел себя грубо, негостеприимно. Сославшись на ревматические боли, Вильчковский размашисто шагал по кают-компаниям и задавал бесцеремонные вопросы. «Я был на берегу, господа, и не нашел там ваших больных! Что это значит?» Гренье вынужден был заявить, что больные скончались и погребены на городском кладбище без приличествующих этому случаю формальностей из-за проклятой болезни, угрожающей флоту.

Последнее же посещение «Авроры» особенно обеспокоило адмирала Прайса. Он обнаружил на фрегате массу пренеприятнейших неожиданностей. Как-то вдруг оказался приведен-

ным в порядок стоячий такелаж, негодные паруса были заменены, продет подвижной, бегучий такелаж. При благоприятном ветре фрегат мог бы сняться с якоря.

Прайс явился на французский фрегат наутро после визита на «Аврору» с непреклонным намерением склонить Депуанта к выступлению.

Депуант пытался и на этот раз увильнуть от разговора. Только что поднятый с постели, с помятым лицом и слезящимися глазами, он казался маленьким и незащищенным. Ему хотелось вытолкать за дверь гостя и прежде всего привести себя в порядок. Депуант твердил раздраженно:

– Мы обо всем условились, решительно обо всем...

Прайс сердито насупился.

– Я требую вашего согласия на самые решительные и незамедлительные действия.

– Увы, не могу! Мое правительство, мой император запрещают мне это... – При упоминании императора голос Депуанта крепнет, а сам он словно становится на котурны. – Я солдат Франции. Я не скомандую: «Огонь!», пока мой император не скажет: «Война!»

Депуант вынул из ящика депешу и протянул ее Прайсу. Париж, 23 февраля 1854 года. Циркуляр морского министра. «Пока неприязненные действия между Францией и Англией, с одной стороны, и Россией – с другой, еще не начались или война еще не объявлена, вы не будете действовать наступательно, а должны оставаться в оборонительном положении. Когда настанет время, я сообщу вам инструкции, необходимые для нападения».

Прайс небрежно бросил циркуляр на стол.

– Мы с вами слишком опытные люди, чтобы придавать чрезмерное значение бумажкам. Потопите «Аврору» – и война начнется, она станет фактом. Сделайте первый залп – и вы непременно будете в выигрыше. Если война началась, этот залп окажет честь вашей дальновидности и решительности. Если же политики решили не воевать – а я не верю в это, – ваш залп даст им великолепную возможность показать свое миролюбие и гуманность. Вас накажут для виду, только для виду, потому что вам будут все-таки благодарны и вскоре сумеют вознаградить.

Депуант рылся в бумагах на столе. В эту секунду он не выдержал бы взгляда Прайса. Англичанин прав, трудно не согласиться с ним. Но Депуанту надоела настойчивость партнера, менторский тон, желание командовать. У них хватит времени для того, чтобы разделаться с «Авророй».

– Логично, логично, адмирал, – соглашался Депуант. – Но когда логика сталкивается с долгом офицера, я отдаю предпочтение последнему. Кроме того, – Депуант приподнялся на носках, – я нахожу тревогу ложной. Потерпите немного – и вы увидите, как «Аврора» будет уничтожена. Смешно же волноваться, имея столь превосходящие силы да еще неопытного противника, какого-то тугодума капитан-лейтенанта!

Собрав всю свою выдержку, Прайс приготовился к атаке, твердо решив, что она будет последней. На длинном, иссеченном сухими морщинами лице появилось выражение горечи и с трудом скрываемой обиды. Он помолчал мгновение, словно раздумывая, стоит ли вообще продолжать этот напрасный разговор. Потом начал с непривычной мягкостью:

– Вы совершаете обычную ошибку, адмирал. Мы не знаем русских, готовы считать их неопытными, слабыми – и когда-нибудь поплатимся за свое равнодушие. – Прайс взглянул на собеседника долгим, тяжелым взглядом. – Я хочу рассказать вам о том, что, к счастью, давно забыто всеми – кроме меня, конечно, – что покрылось уже пылью четырех десятилетий... Во время морской войны, начавшейся после того, как Александр подписал в Тильзите мир с Наполеоном, я, тогда еще лейтенант, плавал на фрегате в северных морях. – Прайс вздохнул: – Я много лет не рассказывал этого никому.

Он неторопливо набивал трубку узловатыми пальцами, утолщенными у ногтей, и, подбирая осторожные выражения, которые не роняли бы его офицерского достоинства, рассказал Депуанту одну из давних историй своей жизни.

Это случилось девятнадцатого августа 1810 года, у Нордкапа, когда английский фрегат почти столкнулся с русским транспортом, шедшим из Архангельска в Норвегию. Море клокотало и пенилось. Безоружным транспортом англичане завладели без особого труда – встреча была настолько неожиданной, что маленькая команда русских не успела ничего предпринять. К тому же это было торговое, нагруженное пшеницей судно, которое при любых условиях не могло тягаться с фрегатом. Командир фрегата, оставив на транспорте русского шкипера Матвея Герасимова и трех его подчиненных, послал туда лейтенанта Прайса с семью матросами. Двадцать третьего августа вечером поднялась буря, англичане на транспорте потеряли из виду фрегат и носились по морю с зарифленными парусами и сломанной грот-брам-стенгой. Ночью русские сбросили английского часового в воду, обезоружили Прайса, матросов и бросили их в трюм, где они просидели в темноте больше десяти дней, готовые каждую минуту затонуть вместе с ветхим кораблем. В захудалом норвежском порту Вардегауз Матвей Герасимов сдал англичан местному коменданту.

– Семнадцать лет я замаливал этот грех. Только после Наваринской битвы я вздохнул свободно. И знаете, что было самым большим огорчением в дни Наварина?! Необходимость сражаться вместе с русскими, невозможность повернуть фрегат и топить их. – Прайс помолчал и добавил задумчиво: – Мы очень задержались с войной. Следовало начать лет двадцать тому назад.

– Что же мешало Англии? В поводах недостатка не было.

– Франция! – Прайс сверлил злыми глазками Депуанта.

– Вот как?! Чего же вы желаете?

– Дружбы.

Руки Депуанта замелькали в воздухе.

– Дружба собаки и кошки! – воскликнул он. – Сходите на окраины Лондона и заговорите там по-французски! Вас назовут «френч дог»¹⁰, и хорошо, если не избыют палками.

– Так поступает чернь, – заметил Прайс в оправдание.

– Ее воспитывает правительство! – воскликнул Депуант, забывая о долге гостеприимного хозяина. – Ее кормят черствым хлебом лжи газеты! В театрах, в кукольных балаганах француза, как во времена короля Георга, изображают в виде пошлого парикмахера, обжиряющегося бульоном из лягушек, наряженного в жабо, но без нательной рубашки.

Прайс понял, что и на этот раз он не добьется согласия и заговорил с той резкостью и безапелляционностью, которые, как он уже знал по опыту, пугали Депуанта:

– В среду на святой неделе – когда русские ждут этого менее всего – я атакую «Аврору» при любых обстоятельствах. Я не в том возрасте, чтобы совершать ошибки, на исправление которых нужны десятилетия. В Англии самые благополучные дела нередко заканчиваются тем, что храбрый воин вместо лаврового венка за свои заслуги годами терпит клевету, его затапывают в грязь, так что он даже умереть не может спокойно...

Участь «Авроры» была решена: в среду, 14 апреля 1854 года, она должна стать легкой добычей англо-французской эскадры.

V

Снаряжая «Аврору» в кругосветное плавание, в Петербурге думали не о войне с великими европейскими державами. Причина была другая.

С некоторых пор на востоке России завелись беспокойные люди. Они доставляли много хлопот столичным департаментам, а более всего министру иностранных дел, государственному канцлеру Нессельроде.

¹⁰ Французская собака.

Листая пухнувшие папки Восточного отдела, вчитываясь в резкие, настойчивые записки иркутского генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева, которые нередко попадали к Нессельроде необычным путем – из рук самого царя, он не раз откидывался в глубоком кресле и, поджав свою презрительно оттопыренную нижнюю губу, строил новые планы, обдумывал еще не испробованные комбинации.

Как он, умудренный опытом царедворец, мог допустить назначение этого выскочки Муравьева, помахавшего несколько лет саблей на Кавказе, на должность генерал-губернатора Восточной Сибири? На Кавказе бы ему и оставаться, там и сложить голову. Это столь же естественно, как и то, что для бунтовщиков существует Сибирь, а не Липецкие воды.

Нессельроде снял очки и прищурил усталые, близорукие глаза. Конечно, Муравьев не бунтовщик. А все-таки стоило ему поселиться в Туле в должности тульского губернатора – и уж готов проект об упразднении крепостного права. Проект писан рукою не якобинца-декабриста, не разночинца, возбужденного европейскими делами. Во всем виден настойчивый, просвещенный администратор: рассуждения о выгоде двора, о пользе отечества, о коммерческих интересах России – столь же резонные, дельные выкладки и точные цифры, как и теперь, когда курьеры мчат донесения Муравьева не близким трактом из Тулы, а в кибитках через всю Сибирь.

Не слишком ли много внимания строптивому, самонадеянному генералу?

Государственный канцлер развязал темный шелковый платок – от него жарко шее, – снял большие очки и устало потирал переносицу. Самодовольная, полупрезрительная улыбка сползла с его лисьего лица.

Неблагодарная страна! Он тратит столько усилий на то, чтобы не возмутить Китай, не обидеть гордую Францию, не восстановить против себя всемогущую Англию, не обмануть ожиданий Пруссии, не волновать Австрию, не потревожить покой многих других держав, – а эти упрямые люди на Востоке что они понимают? – они способны из-за пустяков втянуть страну в конфликт.

Соперничество вельмож, ненависть завистливых сановников – все это он снес бы, стерпел. Разве не приходится терпеть то же Пальмерстону?! Или во Франции, в каком угодно другом цивилизованном государстве разве иначе? И там государственные мужи не пребывают в безмятежном покое. Нет! Сильному человеку нечего бояться соперничества, интриг, временной опалы. Для сильного это школа.

Нессельроде думал о другом.

Его ненавидит Россия. Россия университетских воспитанников, молодых офицеров, чиновников легко расстающихся со своими мундирами ради просветительской деятельности. Россия дерзких сочинителей.

Эта Россия издевается над ним. Печатает памфлеты. Сочиняет комедии, басни, эпиграммы. Это она назвала его *министром нерусских дел*. Теперь эта кличка – как черное пятно на щеке; оно остается, сколько ни три щеку.

Он плохо говорит по-русски. Велика беда! Французский или немецкий языки, которыми он владеет в совершенстве, не помешали ему облагодетельствовать Россию. Он вспоминает, каким изобразил его знаменитый Крюгер, – в мундире, при русских орденах, с хохолком над высоким узким лбом, в бархатном жилете, полным собственного достоинства. Разве он не похож на русского вельможу?

Нессельроде горько усмехается, сжимая до хруста в суставах тонкие, сухие пальцы.

Император в конце концов вынужден был согласиться с теми, кто открыл Амур для океанских кораблей, кто нашел, что устье великой реки судоходно.

«Этакое заблуждение! – думает Нессельроде. – России на крайнем Востоке нужна благосклонность великих морских держав, а не Амур с мифическим выходом из него в океан. В Сибири и без Амура немало могучих рек, а что они значат в делах европейской или азиатской

политики?! Нельзя рисковать спокойствием страны ради честолюбия морских офицеров, которым всего важнее нанести свое имя на карту, пусть даже в таком гиблом месте, как Татарский залив. Эти невежественные люди не понимают, что Амур дорого обойдется русскому императору. Англия не потерпит усиления России на отдаленном Востоке. Она силой оружия заставит выступить Китай, объявить свои претензии на Амур и Приамурье. Американские Штаты примкнут к сильной антирусской коалиции – они давно мечтают хозяйничать в Тихом океане».

Были у Нессельроде и другие соображения. Однажды, глядя в злые, водянистые глаза Николая I, он изложил свои мысли с поразительной, не привычной в его устах решимостью:

– Ваше величество! Отдаленная Сибирь до сего времени была глубоким мешком, в который мы спускали наши социальные грешки, подонков общества в виде ссыльных, каторжных, поселенцев... С присоединением Амура к России дно этого мешка должно оказаться распоротым. Каторжникам представится широкое поле для бегства по Амуру в океан. Бунтовщик Герцен будет иметь в их лице новых сотрудников и единомышленников...

Николая переделало. Дело исследования Амура было оставлено. Но ненадолго. В 1849 году оно возникло вновь, и теперь уже никому, и самому Нессельроде, не под силу остановить его.

«Странные, непостижимые люди! – думал Нессельроде. – Невельской рискует головой, карьерой, честью ради того, чтобы отыскать несуществующий проход из Амура в океан. Одержимый, несговорчивый человек, фанатик, каких немало среди грубых русских натур! Муравьев прогоняет сквозь строй солдат, третирует купечество, но сам же пробивает купцам дорогу на Восток. Или этот генерал-малороссиянин с плебейским именем – Завойко, хозяйничающий в Петропавловске-на-Камчатке. Десятилетиями велась спокойная переписка о переносе Охотского порта, а он настоял и сделал: порт уже несколько лет как перенесен в Аян».

Нессельроде с раздражением вспоминал о Востоке. Этого сражения он не выиграл. Повидимому, дело не в Муравьеве, здесь вступили в борьбу какие-то новые, неодолимые силы.

Недаром именитые сибирские купцы, побаивающиеся крутого нрава Муравьева, так щедро поддерживают некоторые его начинания...

После долгих настояний генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев получил наконец высочайшее соизволение на снаряжение экспедиции по Амуру. Благодаря подвигу Невельского Амур вновь, после двухвекового сна, оживал для России.

Амур был делом жизни Геннадия Ивановича Невельского. Еще в Морском корпусе пылкий юноша изучал старые карты Татарского «залива», Сахалина и Амура, работы знаменитых мореплавателей, согласных в том, что устье Амура несудоходно и выхода из реки в океан не существует.

Но авторитеты Лаперуза, Броутона и Крузенштерна, тщетно пытавшихся проникнуть в Амур из океана, не поколебали решимости Невельского. Проницательный ум молодого ученого находил в их свидетельствах ошибки и неполноту, а гениальная интуиция Невельского угадывала возможность нового решения амурской задачи. Оказавшись на Амуре, Невельской продолжал действовать как ученый, шаг за шагом исследуя амурский лиман, с тем чтобы дать неопровержимое и окончательное разрешение амурской загадки.

Еще до Невельского, в 1846 году, в устье Амура побывал поручик корпуса штурманов Гаврилов. Ему не удалось опровергнуть заблуждение выдающихся мореплавателей. Правда, Гаврилов и сам чувствовал случайность своих поисков, неполноту выводов, связанную со слишком малым сроком работ на бриге «Константин». Гаврилов предупредил правителя Российско-Американской компании о том, что он не смог прийти к окончательному выводу о судоходности устья Амура. Но неудача Гаврилова была истолкована в Петербурге противниками русской активности на Востоке как новое подтверждение того, что Сахалин соединен с материком песчаным перешейком, запирающим вход в Амур.

Невельскому пришлось вести борьбу не только с мертвящей силой авторитетов, с жестокими природными условиями неизведанного пустынного района, но прежде всего с тупыми и злобными сановниками Николая I, с государственным канцлером Нессельроде и созданным под его председательством Особым комитетом по амурскому вопросу. Бездарный дипломат, весь поглощенный европейскими интригами, льстец и трус, Нессельроде держался твердого убеждения, что Россия должна отказаться от далекого Приамурья и Сахалина – земель, издавна исследованных русскими землепроходцами. Нессельроде пугал Николая неизбежным конфликтами с Англией, войной с Китаем, утверждал, что по Амуру плавают речные военные суда китайцев, что всякая активность России на Амуре непременно вызовет вооруженный конфликт на Дальнем Востоке.

В 1849 году Геннадий Невельской на транспорте «Байкал», приняв на себя «всю тяжелую ответственность перед отечеством», вопреки предупреждениям Нессельроде и существующему запрету, проник из океана в Амур, открыл глубокий семиверстный пролив, отделяющий остров Сахалин от материка.

Открытие Невельского озлобило Нессельроде. Он потребовал сурового наказания Невельского и добился строжайшего запрещения продолжать какие бы то ни было исследования в устье Амура.

Невельской не отступил и на этот раз. В 1850 году он снова пошел на Амур, основал в амурском устье Петровское зимовье и завершил исследования, начатые в минувшем году. Новая угроза нависла над Невельским – за неслыханную дерзость и неподчинение Особый комитет по амурскому вопросу положил разжаловать его в матросы. Казалось, спасения ждать неоткуда. Но оно пришло, и притом оттуда, откуда меньше всего ждал Невельской.

Неожиданные и эффектные резолюции, круто менявшие направление иных дел, тешили непомерное властолюбие и тщеславие самодержца. Так случилось и на этот раз. Явился и советчик в лице умного и дальновидного Муравьева, генерал-губернатора Восточной Сибири, и Николай помиловал Невельского.

Избавленный от уголовного наказания, вернувшись из Петербурга на Амур, Невельской на протяжении пяти лет, проведенных в неустанных трудах, испытывал всю тяжесть интриг и мести Нессельроде.

В 1853 году Муравьев тронулся в путь по Амуру, возвращенному России гением Невельского. Подле Усть-Стрелки, там, где Шилка, сливаясь с Аргунью, кладет начало Амуру, генерал Муравьев, перегнувшись через борт шлюпа, зачерпнул стакан амурской воды и, выпив его, поздравил людей с началом плавания. Грянуло «ура». По Амуру растянулся большой караван. Впереди пароход «Аргунь», построенный иркутскими купцами, – его корпус сработали шилкинские мастера, а машину – свои, сибирские, Петровского завода, механики; за ним баржи, плоты, шлюпы, плашкоуты, нагруженные добром, подаренные сибирским купечеством, – хлебом и вином, мясом и маслом, а сверх того и всякою всячиной, необходимой при размене с гиляками.

Талантливый моряк, мужественный, независимый человек, Геннадий Невельской проложил дорогу, – завладела ею набиравшая силу русская буржуазия. Охмелев на сибирских просторах, развращенная безропотностью слабых племен, рабским трудом каторжан, соединяющая в одном лице расчетливого промышленника и пройдоху откупщика, она поднималась во весь рост и рвалась на Восток. Подобно потокам, переполнившим водоем, ее деньги ринулись в поисках новых, удобных путей, нового русла, чтобы устремиться по нему с удесятеренной силой.

Таким естественным руслом был Амур. Таким новым, неизведанным, сказочно богатым краем был Дальний Восток, Приамурье. Богатые сами по себе, эти земли связывали Россию с Тихим океаном, с огромным торговым бассейном, с Аляской, Курильскими и Алеутскими островами.

Русский народ по праву считал эти земли своими – он издавна заселял их и отдал за них тысячи и тысячи драгоценных жизней. Куда бы ни ступила нога исследователя Амура и Дальнего Востока, он неизменно находил следы давней русской жизни.

Наступила критическая фаза в истории северной части Тихого океана. Американцы уже не удовлетворялись безнаказанным хозяйничаньем в водах Охотского моря – этого внутреннего моря России – и грабили побережье. Они послали командора Перри на десяти военных судах со специальной миссией в Японию, открыв для себя эту наглухо затворившуюся от Европы державу. Англия захватывала Китай, заставляя народ поглощать опиум, умирать в нищете. Китайское серебро, шелка и чай стали собственностью англичан.

Отряды китобойных судов в Охотском море росли с необыкновенной быстротой. К исходу сороковых годов сотни судов: американских, английских, французских, немецких, испанских, датских, голландских – шныряли в Охотском и Беринговом морях, большие трехмачтовые суда, берущие от трехсот до восьмисот тонн груза. По мере того как Америка утверждалась на Сандвичевых островах, а Англия подчиняла себе Китай, овладев его портами; по мере оживления судоходства в бассейне Тихого океана, связанного с открытием золота в Калифорнии, иностранный китобойный промысел в русских водах принимал все более циничный характер. В Петербург летело донесение за донесением. «В пять лет, – писали люди, хорошо понимавшие значение китового промысла, – богатство это, нам принадлежащее, истребится без всякой пользы для России, доставив несколько сот миллионов предприимчивым людям всего света, исключая русских...»

Богатства Камчатки, Берингова и Охотского морей ежегодно расхищались предприимчивыми англосаксами. Они пытались захватить в свои руки торговлю Камчатки, ссылаясь на то, что правление Российско-Американской компании плохо снабжало население провиантом. Американец Добелль принял даже русское подданство, желая обосноваться на Камчатке и прибрать к рукам местный пушной промысел и торговлю. Шантаж, обман, подкуп – все было пущено в ход, чтобы завладеть добычей. Пираты с купеческими патентами и купцы с наклонностями пиратов проникали в отдаленные уголки Камчатки, заходили в глубь Пенжинской губы, основывали торговые дома в Гижиге, Большерецке, Тигиле и других селениях.

Камчатка – заманчивый кусок. Охраняют ее несколько сот солдат, вооруженных кремневыми ружьями. Петербург далеко, переписка и по важным вопросам длится годы, департаменты неизменно дают уклончивые ответы на просьбы камчатских начальников, предоставляя им выходить из затруднений собственными средствами. Матерые хищники скоро поняли, что незачем просить у России то, что можно взять силой. Патриархальные времена, когда англичанин Пигот просьбами и посулами склонял камчатского начальника Рикорда к заключению контракта на монопольный промысел китов у берегов Восточной Сибири, миновали. Дело обошлось без контракта, пошлин, даже без соблюдения приличий, обязательных для приходящих в чужой дом.

В 1846 году около пятисот американских китобоев промышляли в русских водах, хозяйничая в Пенжинской губе – этом гнездовье китов. Спустя два года американский китобой «Супериор» проник через Берингов пролив на север, к Чукотской земле, и в несколько дней добыл полный груз китового жира. Китобои каперствовали на побережье Камчатки, палили из пушек на Петропавловском рейде, сходили на берег после вечерней зори, захватывали богатую пушную добычу, выжигали леса, истребляя соболей и лис.

Еще в тридцатых годах русское правительство обратилось к Соединенным Штатам с просьбой запретить американским судам заходить во внутренние моря и заливы России. Правительство Американских Штатов обнародовало просьбу России в крупнейших газетах и сопровождало ее сочувственными, но ни для кого не обязательными комментариями. Приличия были соблюдены, но янки, наживавшие состояния в Охотском море и Пенжинской губе, не считали себя связанными «моральными внушениями» правительства.

В 1846 году, когда около двадцати китобойных судов бесчинствовали в Петропавловской гавани и начальник порта, предшественник Завойко Машин, ждал инструкций, которые разрешили бы ему принять энергичные меры, нарочный курьер привез бумагу Адмиралтейства из Петербурга, позволяющую ежегодно тратить по 5 рублей 71 ³/₇ копейки на кошек, содержащихся в петропавловском провиантском магазине. Правительство, озабоченное борьбой с четвероногими грызунами, смотрело сквозь пальцы на неслыханное расхищение богатств России двуногими хищниками. Только за два года – 1846 и 1847-й – американцы добыли во внутренних водах России китового жиру более чем на семнадцать миллионов серебряных долларов. Сумма по тем временам неслыханная!

Англичане настойчиво подбирались к Восточной Сибири, к устью Амура, к Камчатке под видом ученых, геологов, лингвистов, миссионеров и купцов. Поиски пропавшей экспедиции арктического исследователя Франклина служили поводом для посылки разведывательных отрядов. Они забирались в такие углы Восточной Сибири, где легче было бы найти Ноев ковчег, чем несчастного Франклина и его спутников.

Встревоженный нараставшими событиями, Муравьев в 1853 году доносил в Петербург: «России, натурально, если и не владеть всею Восточною Азиею, то уже непременно господствовать на всем побережье Восточного океана. Мы допустили вторгнуться сюда Англию, которая из своего маленького острова предписывает законы во все части света. Законы же английские не имеют целью благосостояние человечества, а пишутся они в удовлетворение лишь коммерческих интересов Великобритании, нарушая спокойствие и благосостояние других народов... Овладеть Камчаткой, Амуром, Сахалином, отрезать Россию от Восточного океана – вот, полагаю, ближайшая цель Англии».

Дальний Восток требовал крейсеров для охраны китового промысла. Торговые суда Российско-Американской компании не могли более оставаться беззащитными, отданными на произвол заморских пиратов. Требовались люди для новых поселений по берегам Татарского пролива. Настала пора послать миссию в Китай и Японию – для торговых и дипломатических переговоров. Только благодаря этому в начале пятидесятых годов из Кронштадта в Тихий океан отправилось несколько военных судов. Сначала корвет «Оливуца», затем транспорты и три фрегата: «Паллада», «Диана» и «Аврора» – так называемая эскадра вице-адмирала Путятина.

Из трех крупных военных судов только фрегат «Диана» был пригоден для трудного кругосветного плавания; «Аврора» значительно устарела, а «Паллада» годилась на слом. Фрегаты плыли не по одному маршруту: «Паллада» и «Диана» – вокруг африканского континента, «Аврора» – через Атлантику и вдоль южноамериканских берегов. Им так и не удалось соединиться в один отряд: «Аврора» сражалась в Петропавловске-на-Камчатке, «Диана» в 1855 году погибла у берегов Японии в результате землетрясения и вызванного им шторма, а «Паллада» едва дотащила до Татарского пролива, но вскоре была расснащена и закончила в устье Амура свое существование.

Соединенная англо-французская эскадра, в составе около тридцати вымпелов, искала корабли Путятина. Контр-адмиралу Дэвису Прайсу и контр-адмиралу Феврие Депуанту вменялось в обязанность: получив известие об объявлении войны, уничтожить эскадру Путятина и обеспечить полную свободу действий англо-французского флота в Тихом океане. На языке газет, выходивших в Сан-Франциско, это называлось: «Идти в камчатские воды с целью разорять берега».

Вот почему марсовые на «Президенте» и «Форте» не сводили глаз с неподвижной «Авроры». Добыча сама пришла в руки.

В начале 1854 года, когда близившиеся выступления Англии и Франции на стороне Оттоманской Порты не вызывали уже никаких сомнений, Нессельроде не раз мысленно возвращался к делам Крайнего Востока. Он уже знал, что в тихоокеанских водах сосредоточены силь-

ные для тех мест неприятельские эскадры, сверх многочисленных судов Ост-Индской морской станции, контролирующей порты Индии и Китая.

Что ж, теперь, в самый неподходящий для России момент, как раз и случится то, о чем он не раз предупреждал правительство и двор: британские суда придут в Петропавловск, в Охотск, в Аян, увезут все, что им заблагорассудится, и предадут огню постройки. Кто может помешать им? Провинциальный администратор Завойко? Прожектер Муравьев, забавляющийся реформами в Иркутске, за тысячи верст от океана? Или два-три жалких военных корабля, посланных из Кронштадта в Тихий океан?

«Да свершится господня воля, – думал Нессельроде. – Я в свое время сделал все, что мог; теперь английские и французские пушки подтвердят мою правоту и дальновидность!»

Да будет так!

VI

Во вторник Изыльметьев тщательно осмотрел фрегат. Боцман Жильцов, сопровождавший капитана вместе с группой офицеров, беспомощно разводил руками, когда Изыльметьев указывал на мелкие погрешности ремонта.

Однако Иван Николаевич остался доволен осмотром. Если бы не старая, пооблупившаяся от времени окраска, фрегат еще мог бы считаться красавцем, изящная осадка, стройные, приведенные в порядок мачты, разномастная, но новая и прочная парусина. Пришлось сменить ванты, которыми крепятся мачты, – прежние истерлись и при шторме могли лопнуть. Изыльметьев прошел от кормы до бушприта, осмотрел все палубные надстройки, проверил, как проконопачены щели и пазы в палубе.

Тревогу вызывала подводная часть фрегата, шпангоуты, штевни, нижний трюм. Дубовые балки и доски уступили натиску времени – и дуб и лиственница потеряли свою первоначальную твердость, пропитались влагой и местами прогнили. Об устарелости «Авроры» говорили и большие, пахнущие гнилью деревянные бочки для пресной воды; в последние годы они повсеместно заменялись металлическими цистернами.

Условия стоянки в Кальяо не позволили капитану обследовать медную обшивку «Авроры» лист за листом, и хотя матросы, опускавшиеся под воду, уверяли, что положение обшивки в общем благополучно, Изыльметьев знал, как слабо защищен непрочный киль.

Третьи сутки не было ветра. По утрам берег затягивало серой пеленой. Она таяла медленно, растапливаясь в синеве неба. В такую погоду паруса бесполезны, нужно ждать, с надеждой поглядывая на барометр, не пообещает ли он ветер.

Штиль настраивал Депуанта на благодушный лад. Штиль как нельзя лучше отвечал его нерешительности.

– Вот когда нам понадобился бы «Вираго»! – не без ехидства намекнул он Прайсу.

Но, полный решимости, контр-адмирал заверил Депуанта, что к исходу завтрашнего дня они при любых условиях завладеют «Авророй».

Вечером Изыльметьев посетил английский фрегат. С высокого борта пятидесятипушечного «Президента» видна была неподвижная «Аврора». Пройдет еще час – и вечерний туман скроет «Аврору» от глаз марсовых «Президента», исчезнут в тумане и мягкие очертания острова Сан-Лоренцо, близ которого стоит «Аврора».

В этот вечер Прайс казался необычно любезным и словоохотливым собеседником. Но в его шутках и угловатой подвижности чувствовалась какая-то неловкость, нарочитость и вместе с тем нервный подъем. Он хвалил русских офицеров, пришедших с Изыльметьевым на «Президент», с увлечением говорил о профессии моряка, о «великой, нерасторжимой морской семье».

Депуант притих от изумления.

– ... Что ни говорите, а в появлении паровых судов я вижу какое-то горькое, печальное знамение...

– Это не помешало вам, господин адмирал, – заметил Изыльметьев, – включить в свою небольшую эскадру пароход «Вираго».

Прайс рассмеялся.

– Скажу вам по секрету: заставили взять! А душа к нему не лежит. Поздно мне переучиваться. И копоты много. Дымит...

– И камбуз дымит, – заметил Дмитрий Максutow, – однако же упразднить его никто не намерен.

– Приготовление еды, господин лейтенант, – процесс неизбежный, он отвечает естественной потребности человека.

– А паровая машина, – возразил Дмитрий, – я полагаю, отвечает естественным потребностям человечества. И, сколько можно судить, Англия не пренебрегает этой возможностью.

– Еще бы! – Прайс продолжал подкупающе дружелюбно, откровенно, точно изливая наболевшую душу. Темные от старости руки поглаживали согнутые под прямым углом колени. – Разве есть в мире такая вещь, которую пренебрегла бы Англия, не завладела бы, не купила бы ее? И копоты мы первыми наглотались по горло. – Им снова овладело возвышенное настроение. Господа, я люблю Англию. Но, увы, у нас во всем господствует экономическая проза. Только флот, парусный флот – прибежище романтики. На земле мы барахтаемся в паутине своекорыстных интересов, куда-то спешим, чему-то завидуем и в довершение всего стараемся изловчиться, чтобы получше всадить пулю в спину ближнего своего. В открытом море мы все становимся братьями. Мы, как дети, радуемся парусу, показавшемуся на горизонте, не думая о том, чей флаг на корабле. Мы – великое, нерасторжимое братство!

– Однако в сердце своем, куда бы ни бросила нас судьба, мы храним родину, – сказал Дмитрий, внутренне приготовившись к спору. – Я думаю, что это и делает неожиданную встречу в море столь радостной и возвышенной. Иначе такие встречи могли бы оканчиваться и абордажной схваткой.

– Оригинально! – Прайс не скрывал иронии. – Но недостаточно ясно.

– Родина – компас, господин адмирал. Драгоценный компас, который мы храним не у штурвала, не в нактоузе, а в душе и в сознании своем, пока оно не затмится.

Дмитрий говорил горячо, уверенно. Слова точно слагались в фразы. В них было столько искреннего чувства, что никому не пришло бы в голову заподозрить его в аффектации. В такие минуты Александр любовался Дмитрием, его красивым, мягким лицом и толстоватой, но подвижной фигурой.

Прайс заплодировал, приглашая офицеров последовать его примеру. Депуант, Паркер, Лефебр и еще несколько офицеров поддержали его жидкими хлопками. Прайс наклонился к Изыльметьеву и проговорил:

– Положительно я завидую вам. Как легко, должно быть, командовать такой молодежью!

– Я люблю их, – просто сказал Изыльметьев.

На обратном пути, в шлюпке, офицеры долгое время молчали.

Было поздно. На отдалявшихся кораблях пробили полуночные склянки. Наступила тишина, нарушаемая глубоким дыханием гребцов и всплесками весел. Когда на шлюпку уже надвигалась темная громада «Авроры», Вильчковский неожиданно сказал:

– Очень уж не похоже на то, чтобы тут пахло войной или какими-нибудь кознями. Я думаю, Иван Николаевич, что мы можем считать себя в безопасности. Адмирал был так любезен сегодня...

– Это-то обстоятельство, – перебил Изыльметьев, выпрямляясь, – больше всего и тревожит меня. Прайс не такой человек, чтобы за здорово живешь витийствовать перед нами. Вот что, господа! «Аврора» починилась и, слава богу, может двинуться в путь. Наша задача ясна –

достичь бухты Де-Кастри со всею быстротой, упреждая другие суда и известие о войне. Отправимся через четыре часа, пока не разошелся туман. Необходимо подготовить тросы и гребные суда, если продлится штиль, мы выбуксируем фрегат в открытое море.

Снова тишина. Даже гребцы замешкались, подняв весла над водой. Этого часа ждали все, и вместе с тем он застигал каждого как бы врасплох, заставляя поеживаться от волнения. Первым нашелся Дмитрий.

– Простите, Иван Николаевич, – сказал он шутливо, – но мы поступили невежливо: мы не простились с адмиралами.

Голос Изыльметьева звучал по-прежнему резко и сурово:

– Надо полагать, что суда Прайса и Делуанта пустятся за нами вдогонку, желая от всей души исправить эту нашу оплошность. Возможно даже, что они попытаются подойти вплотную к «Авроре», чтобы обнять нас и облобызать напоследок. Во всяком случае, не мешает зарядить пушки и отточить бордажное оружие.

VII

Перед рассветом, едва вставший из воды туман скрыл от «Авроры» сигнальные огни «Президента» и «Форта», была отдана команда «свистать всех наверх».

Экипаж выстроился на шканцах во фронт. Изыльметьев, не теряя времени, спокойно, будто продолжая случайно прерванный разговор, сказал:

– Ребята! Помните, я говорил вам, что мы должны быть готовы к войне с англичанами и французами? Война, по слухам, уже объявлена, но известия придут в Кальяо не ранее воскресенья, и, может быть, суда, стоящие на здешнем рейде, скоро погонятся за нами. Коли так случится, то смотрите, чтобы выйти нам из дела с Георгиевскими крестами! Главное дело – не суетиться, не горячиться, а стрелять хладнокровно, как на учении! Мы теперь идем в русские порты, в Татарский залив...

Изыльметьев подумал, что напрасно он продолжает называть Татарский пролив заливом, но поправляться не стал.

Бесшумно, ложась на старую парусину, поднялась якорная цепь. Спустили на воду шлюпки, прикрепленные прочными бакштавами к корме «Авроры». Из арсенала и кладовой, в которой хранились ядерные ящики, взяли запасы, необходимые для отражения неприятеля.

Паруса в это безветренное утро были бесполезны. По сигналу Изыльметьева офицеры, находившиеся в шлюпках, отдали команду матросам. Взметнулись весла, и тонкие канаты натянулись, запели.

Пастухов, стоявший в одной из шлюпок, волновался. Он не смог бы сам себе дать отчет в причинах этого волнения. Была ли здесь обида на то, что «Авроре», которую он так любил и которой гордился, приходится крадучись уходить от врага, или опасение, что враг разгадает их маневр, или, наконец, желание, чтобы случилось именно так и завязалась жаркая баталия...

Всем телом почувствовал он тот момент, когда «Аврора», вздрогнув, снялась с места и пошла за гребными шлюпками. Фрегат двинулся медленно, и оттого, что расстояние между ним и шлюпкой Пастухова не уменьшалось, он казался неподвижным, уснувшим.

На фрегате не было заметно никакого движения.

Повисли паруса. Матросы стояли у бортов, орудийная прислуга была на батареях верхней палубы. Все готовы к действиям, если неприятель или ветер подадут к тому повод.

«Аврора» ушла довольно далеко от Сан-Лоренцо, когда легкий ветерок начал рвать туман, разбрасывая белые клочья и открывая суда, оставшиеся в гавани. Теперь матросы и офицеры, не раз сетовавшие на то, что Изыльметьев поставил «Аврору» у острова, мористее других судов, вполне оценили его дальновидность.

В море подул попутный ветер. Затрепетали паруса. Матросы живо выбрали тросы и подняли на шканцы гребную флотилию.

Фрегат, шедший во время буксировки кормой, развернулся, наклонился под надувавшимися парусами и начал быстро уходить от берега.

Стая чаек, сопровождавшая «Аврору», с криком оторвалась от фрегата и понеслась к Кальяю.

Изыльметьев долго смотрел в трубу на английские и французские суда. И пока Иван Николаевич мог видеть мачты «Президента» и «Форга» – самых крупных из фрегатов на рейде, они не меняли своего вида, не вспыхивали тугими светлыми прямоугольниками парусов.

Затем рейд ушел за горизонт, и люди на «Авроре» могли рассмотреть только дымчатую линию гор и солнце, вставшее над ними.

Будни

I

Утром петропавловцам стало известно, что в море находится корвет «Оливуца», а к полудню, медленно лавируя под переменным ветром, стройное трехмачтовое судно отдало якорь во внутренней бухте под дружные крики и приветствия собравшихся в порту людей.

С «Оливуцы», бросившей якорь в Петропавловской бухте в погожий, солнечный день, открывалась величественная панорама. Порт и город лежали в зеленой ложбине. Справа поднимались склоны Петровской горы. Слева маленькую бухту и порт отделял от обширного бассейна Авачинской губы узкий полуостров, состоящий из двух соединенных седловиной гор – Сигнальной и Никольской. На севере, за городом – громады камчатских вулканов, казавшихся близкими в прозрачном воздухе весеннего полудня.

За кормой «Оливуцы» длинная песчаная коса, почти отрезавшая внутренний рейд от Авачинской губы, с узким, но глубоким проходом для судов.

На пристани толпились люди. Завойко стоял в группе портовых чиновников, ожидая встречи с Назимовым, капитаном корвета. «Оливуца» шла с юга. Возможно, корвет побывал на Сандвичевых островах, везет важную почту и газеты с сообщениями о военных действиях. У причалов сновали портовые рабочие, нижние чины сорок седьмого флотского экипажа – они разгружали компанейский транспорт. В просвет между корпусом транспорта и корветом была видна часть песчано-галечной косы в месте ее соединения с берегом. Там укладывались рядами и сколачивались бревна, вырастали земляные валы укрытия одной из ключевых артиллерийских батарей.

К Завойко подошли двое мужчин, не похожих на окружающих чиновников и местных поселенцев. Один из них, рыхлый, коротконогий человек с красным бугристым лицом, словно ошпаренным когда-то кипятком, низко поклонился Завойко, сняв поношенную черную шляпу с высокой тульей.

– С добрым утром, господин губернатор! – проговорил он с заметным акцентом, тщательно произнося каждый слог. Большие вялые губы его кривились.

– Здравствуйте, Чэзз! – Завойко взглянул на склоненную голову хозяина пушной лавки в Петропавловске и добавил: – Шумно становится у нас в порту, а?

Толстяк хихикнул. Золотая цепочка запрыгала на животе, втиснутом в грубое сукно. Глаза его сузились и готовы были вот-вот скрыться в мясистых веках.

– Вы скоро оставите позади Сан-Франциско. Мне придется купить старую посудину и уехать на родину.

– Мы найдем для вас местечко, Чэзз.

– Спасибо, спасибо! – сказал Чэзз в тон Завойко и церемонно поклонился. – Как говорится по-русски: теплое местечко?

– За теплое не ручаюсь. Земля у нас холодная.

Чэзз показал рукой на своего спутника.

– Мистер Магуд. Золотопромышленник и судовладелец.

Завойко взглянул на рослого моряка с немигающими розовыми глазами альбиноса и сказал:

– Мы, кажется, знакомы.

– О да! – простецки улыбнулся Магуд. – Господин губернатор имеет хороший память.

– Мы хотим поговорить с вами, – продолжал Чэзз искательно, – по одному важному делу.

Я и мой друг Магуд.

Сквозь шумную толпу, пожимая руки знакомым, уже шел навстречу Завойко весь подобранный, сияющий капитан «Оливуцы» Назимов. Завойко двинулся к нему, бросив на ходу Чэззу:

– Что ж, приходите. Для важного дела и в праздник время найдется.

Чэзз вытащил красный платок из заднего кармана брюк и вытер им потное лицо.

II

По мере того как Назимов и Завойко обменивались новостями, радостная атмосфера их встречи омрачалась. Собеседники хмурились. Назимов сидел у открытого окна, расположенного довольно высоко для первого этажа, а хозяин дома рассказывал по просторному кабинету, расстегнув парадный мундир, надетый по случаю встречи «Оливуцы».

На письменном столе Завойко лежал рапорт Назимова о плавании корвета и копия приказа адмирала Путятина по отряду. Приказ датирован 26 февраля 1854 года. Он объявлял о возможности в скором времени разрыва между великими державами и требовал привести суда в совершенную готовность.

Подробно говорилось и о победе под Синопом.

Это была поистине выдающаяся победа.

Имя адмирала Нахимова прогремело по всему миру, вызывая ненависть лордов адмиралтейства, нетерпимых к морским успехам любой другой державы. Турецкий флот в Синопе – семь крупных фрегатов, три корвета, пароходы, транспорты, шлюпы были уничтожены в коротком бою 18 ноября 1853 года. Их не спасли ни сотни корабельных орудий, ни мощные береговые батареи синопской крепости. Пылали в огне, взлетали на воздух и тонули турецкие суда. Горели город и крепость. Тысячи вражеских матросов умирали, не достигнув своего берега, а командующий турецким флотом Осман-паша был взят русскими в плен. Великолепно было искусство нахимовских комендоров, велико воодушевление, охватившее русскую эскадру! Только один быстроходный пароход «Тайф» ускользнул из Синопской гавани. Командовал им не турок, хотя турки-матросы и звали его Мушавер-пашой, а английский военный моряк и инструктор Адольфус Слэд. Что ж, пусть спешит к Дарданеллам, летит к берегам Альбиона и расскажет по пути, в Средиземном море, адмиралу Дондасу, как сражаются русские матросы!

Однако о возможности войны снова ничего определенного. Только сведения о разгроме турецкого флота наполняли гордостью сердце Завойко, и он ощущал нетерпеливое желание действовать и действовать!

Но что может он предпринять сверх того, что уже делается в порту? Во всем удручающая неопределенность. Пришлют ли солдат, без которых Камчатке не отразить нападения? Доставят ли порох и ядра для нескольких старых пушек, имеющихся в Петропавловске? Просьбы Завойко терялись в бесконечной сибирской шири. В Петропавловске нет опытного инженера-фортификатора; Завойко – флотский офицер, ему неведомы многие секреты крепостного строительства. В порту есть тупоносые каронады и безнадежно устаревшие медные пушки, давным-давно снятые за ненадобностью с какого-то военного корабля. Уж не донкихотство ли пытаться с такими силами вступить в борьбу с неприятелем, если он объявится здесь?

Завойко круто остановился перед Назимовым и спросил:

– Что ж по крайней мере говорят о кораблях Англии и Франции в Тихом океане? О чем судачат кумушки в Гонолулу?

Капитан «Оливуцы», прежде чем ответить, приподнялся было, но рука Завойко мягко легла на его эполет:

– Сидите, Николай Николаевич. Что же говорят?

– Всякое, Василий Степанович! – Назимов имел обыкновение чуть покачивать при разговоре большой головой с черными, словно лакированными, волосами. Темные, горящие глаза, иссиня-черные усы и большие губы делали выразительным малейшее движение его умного лица. – Иного послушаешь, так хоть жги собственное судно и спасайся на каком-нибудь благословенном островке. Не ведаю, как «Авроре» или «Диане», но мне, знаете, не приходилось встречаться в океане с англичанами.

– Океан велик, могли и разминуться.

– Разумеется, – сухо ответил Назимов, задетый замечанием Завойко. Если попытаться отделить истину от преувеличений и основываться на фактах, заслуживающих полного доверия, то все же силы неприятеля весьма внушительны. У них здесь не менее трех-четырёх фрегатов, такое же число корветов. Есть и пароход и мелкие суда. Полагаю, около двадцати вымпелов будет.

Завойко, стоя у распахнутого окна, задумался. Перед ним в просветах деревьев лежал город и порт. На рейде видна «Оливуца», низкий корпус транспорта, а рядом портовые вельботы, шлюп и плашкоуты, совсем игрушечные издали. Ближе к дому – беспорядочно разбросанные серые, замшелые крыши, зеленый купол церкви, веселая путаница тропинок, обозначающих петропавловские улицы. Все заросло травой, все кажется отсюда неподвижным и бесконечно мирным. Через двор идет старик Кирилл, опираясь на палку и поматывая головой, занятый каким-то нескончаемым разговором с самим собой. В порту и на батарее копошатся люди. Их движения из окон губернаторского дома кажутся медлительными, сонными.

Назимов понял сосредоточенный взгляд Завойко.

– Трудно будет вам, – сказал он.

Василий Степанович, круто повернувшись, отошел от окна. Его сапоги то глухо стучали по дощатому полу, то затихали, попадая на лежащие посреди кабинета медвежьи шкуры.

– Что ж, прикажете мне гаданьем заниматься?! Разложить пасьянс, может, он скажет мне, быть ли баталии в Петропавловске? – Завойко сердился, его голос, обычно отличавшийся приятной мягкостью, стал сухим. Или отслужить молебен и просить бога отвратить от нас взоры англичан и французов? – Завойко сложил руки на груди и недовольно уставился на Назимова. – Я не верю благодушному шепоту, надеждам на то, что до нас далеко, три года скачи – не доскачешь. Все это лень, драгоценнейший, лень, равнодушие, беспечность!

Капитан «Оливуцы» поднялся.

– Василий Степанович! – произнес было он дрогнувшим голосом.

– Ладно, не ершиться. – Завойко досадливо махнул рукой. – Не думал я вас обидеть. Но пора перестать жить иллюзиями. Время торопит нас, хватает за чуб так, что лбы трещат, а мы упираемся; вчера, мол, английских фрегатов не было на севере Тихого океана! Вчера их не было и в Китае, а нынче они там, господа, они диктуют моды, предписывают правила. Вчера их не было и в устье Амура, завтра они появятся и там, создадут фабрики, откроют магазины, высадят солдат и предложат нам убраться. Вы и не опомнитесь, как на Амуре окажутся английские суда, как Американские Штаты овладеют Сахалином, захватят Авачинскую губу – и поминай как звали!..

Сжав губы, Назимов сделал короткое движение кистями рук, словно говоря: «Ну, это, батенька мой, уже крайности! Преувеличение!»

– Вы полагаете, что чудачество, мания? – Завойко вспыхнул и накинулся на него: – Не ново, драгоценнейший мой, не ново! Таков уж, видимо, обычай нашей жизни: освистать человека, внушить ему идею о собственном бессилии, привить подлый страх, выставить в смешном виде его мысль. Разве не правда? Невельской, движимый единственно любовью к России, на свой страх и риск проникает из океана в Амур, опрокидывает вековое заблуждение известных мореплавателей, дает нам небывалую возможность прогресса на Востоке, – а что ждет его в Петербурге? Ордена? Рукоплескания толпы? О нет! На него орут, его ставят во фронт, объ-

являют якобинцем, грозят разжаловать в солдаты, казнить. Мы ежечасно трубим об опасности, о чужеземцах, подбирающихся к восточным окраинам России, – нас считают маньяками, швыряют в архивы наши записки, не утруждая себя чтением, не заботясь о последствиях. Из года в год приходят в наши воды чужие корабли с целями не только коммерческими. А ничего не поделаешь, изволь любезничать с ними, хитрить, улыбаться! Везде оградой им низкопозклонство сановников, трусость, пагубное отсутствие человеческого достоинства. Они не ждут и часа, а мы все медлим решительными приготовлениями...

Завойко перевел дух и уже спокойнее продолжал:

– Вы приняли команду над корветом – и что же? Вас вяжут по рукам инструкциями, предупреждениями, советами, и вы уже ничего не можете! Вы и прежде не много могли – двадцать пушек «Оливуцы» против армады мародеров, вооруженных, как заправские пираты. Но кроме пушек есть еще рвение, мужество, отвага, выносливость матросов, искусство артиллеристов. А все это гибнет втуне, уступает место безразличию, фатализму. Правда же?

– Истинная правда! – воскликнул Назимов. – Слабые недолго выдерживают.

– И для сильных есть предел, – с горечью сказал Завойко. Он подошел к письменному столу и выдвинул ящик. – Задача «Оливуцы» – крейсерство в Охотском и Беринговом морях. Уступая нашим настояниям, правительство посылает в эти воды еще один фрегат. Но что может дать эта мера, если ни вы, ни «Аврора» не вольны в своих поступках? Россия давно воюет, война грозит охватить сильнейшие державы мира, нашему краю угрожает непосредственная опасность, – а вам по-прежнему предлагается бездействовать. Вот, полюбуйтесь!

Губернатор вынул из ящика казенный пакет и протянул Назимову. Это была одобренная Николаем I инструкция, изданная в декабре 1853 года, когда намерение Англии и Франции вступить в войну не оставляло уже никаких сомнений. Административным лицам и командирам крейсеров – речь могла идти о Назимове и Изыльметьеве – строжайше повелевалось «иметь постоянно в виду, что правительство наше не только не желает запрещать или стеснять производимого иностранцами китового промысла в северной части Тихого океана, но даже позволяет иностранцам ловлю китов в Охотском море, составляющем по географическому положению внутреннее русское море, и что главная цель учреждения крейсерства заключается в том, чтобы промысел этот производился не во вред подвластным России племенам и чтобы в морях, омывающих русские владения, повсюду соблюдался должный порядок».

Вся пространная инструкция была составлена в том же духе.

Назимов стоял растерянный, насупив мохнатые брови.

– Для подобных целей, – проговорил он, – лучше было бы прислать священника из Петербурга, чем военный корабль и офицеров, готовых исполнить свой долг.

– Я бы мог сказать о себе, как говорят у меня на родине: моя хата с краю, – сказал Завойко. – Она действительно с краю, с самого что ни на есть краю, однако и с нашей горки многое можно увидеть, а поразмыслив – и понять. Добро бы еще мы сами промышляли китов, тюленей, моржей и прочую морскую нечисть, да ведь сказать стыдно – только года два назад появился здесь русский китобой «Суоми» да прошлым летом безрезультатно проболтался китобой «Турка»! Еще, говорят, «Аян» для тех же целей будет приспособлен. И все! Трех пальцев хватило, чтобы счесть наши китобойные доблести в здешних водах! И это противу пятисот заморских головорезов, истребляющих не только китов, но и мирных чукчей, и коряков, и камчадалов. Война начнется, неприятель явится, а нам, Николай Николаевич, чего доброго, и стрелять запретят!

– Я многого не умею объяснить своим офицерам, – хмуро признался Назимов, – да и как объяснишь, коли сам не понимаешь.

– Каково же мне?! – почти вскричал Завойко. – Каково нам, людям, вросшим в эту землю?! Тут каждодневные тревоги, заботы, мелкие интересы, но из них-то и складывается существование людей. Взгляните-ка получше, сказал он проникновенно, взяв Назимова под

руку и подводя к окну. – Вон флаг над Сигнальным мысом... Тысячи русских людей отдали жизнь за то, чтобы он утвердился на этой горе. Простые мужики, купеческие дети умирали здесь, сохраняя этот край для России. И нам ли терять его! Здесь люди живут впроголодь. Не хватает железа, дерева, самых обыкновенных материалов. Нам шлют негодную ветошь, швыряют сюда, как в мусорную яму, все, что не находит применения за Уралом. Трудно, говорите? Очень трудно.

По тропинке, наискось перерезавшей двор, шел Зарудный. Он был в высоких сапогах и серой куртке, в темной шелковой рубаше с бантом и с папкой под мышкой и походил скорее на художника, чем на чиновника.

– Один из энтузиастов края, – сказал Завойко, – чиновник Зарудный.

– Чиновник? – удивился Назимов.

– Титулярный советник. Зарудный сегодня дома, и я вызвал его по срочному делу.

– Не попался он мне прежде, – заметил капитан.

– Весьма возможно. Он много ездит по полуострову, хоть переводы в чиновники особых поручений. Не сидится ему на месте. За два года собрал массу интереснейших сведений о крае. Теперь настойчиво ищет участия в военных приготовлениях. Штатский человек, никогда армейского пороху не нюхал, а, знаете, за последний месяц стал просто необходим мне: все видит, все держит в памяти, и на батареях свой человек. Упорнейшая личность!

В это время Зарудный уже пересек двор и скрылся из виду.

– Если бы однажды столичные витии приехали и поглядели, как мы здесь живем! – продолжал Завойко прерванную нить мыслей. – Вы знаете, как у нас делается доска? Обыкновенная доска, необходимая для полов, перекрытий и прочих строительных нужд, доска, стоящая гроши во всем мире, кроме Камчатки. У нас она добывается – да-да, не удивляйтесь, – именно добывается одна доска из целого бревна. Толстый ствол обтесывается топорами с двух сторон до тех пор, пока он не превратится в доску. Каково?! Сколько труда уходит на это! Но пилы, нужные для изготовления досок, получим нескоро. Зато по настоянию почтмейстера нам прислали за тринадцать тысяч верст деревянный почтовый ящик, хотя его нетрудно было сделать в Петропавловске, будь в нем нужда. Почта отправляется от нас два раза в году, – кому же придет в голову несчастная мысль заранее бросать письма в ящик? Отправление почты – ритуал, священнодействие; каждому хочется в последние часы перед уходом почты видеть, как его письмо попадет в руки чиновника, как скроется в глубинах почтового баула. А почтмейстер заставляет нижних чинов и население бросать письма в ящик. Хоть на минуту, на две. Формы ради.

После длительного напряжения Назимов расхохотался. Простодушная улыбка скользнула по сердитому лицу Завойко.

– Смешно, конечно, – сказал он. – Но и в этих условиях мы копошимся, строим. Закончили здание окружного казначейства и покрыли железом. Смотрите, хорошее здание. Такое и в губернский город не стыдно, а? Назимов смотрел в окно по направлению протянутой руки Завойко. – Возвели портовые мастерские – первое начертание будущих верфей, казенные магазины... Даже суда вознамерились строить в Петропавловске. Вон литейный завод, маленький, с деревянную избу, но работает и приносит пользу. Рулевые петли из меди и крючья для транспорта «Байкал» мы отлили здесь, у себя. Получилось неплохо, не хуже того, что нам присылают из Гамбурга и Петербурга.

В дверь постучали.

– Прошу, Анатолий Иванович, – отозвался Завойко.

В кабинет вошел Зарудный. Поздоровавшись с Завойко, он молча поклонился Назимову.

– Анатолий Иванович Зарудный, титулярный советник, – представил его Завойко и продолжал: – Теперь надо всем нависла угроза. Я разумею не только порт, но и людей. Дома можно

сжечь, железо спрятать в земле. А жители? Куда прикажете их, если придет неприятель и сровняет с землей город!

Зарудный протянул Завойко папку.

– Извольте, Василий Степанович, – сказал он. – Дела на батареях идут успешно.

– Слыхали? Успешно! – иронически подхватил Завойко. – А чем прикажете украшать батареи? Амбразура без пушки – дыра, бесполезная дыра и ничего более.

– Чтобы завладеть землей, – убежденно сказал Зарудный, – мало засыпать ее ядрами. Нужно ступить на берег обеими ногами. Если это случится, мы прогоним противника штыками.

– Кто же сие доблестное воинство? Уж не канцелярские ли писцы да секретари?

– Василий Степанович, – Зарудный смотрел на губернатора напряженным, немигающим взглядом, – я еще раз прошу вас на время кампании определить меня по воинской части.

– Анатолий Иванович, война не охота! Англичанин похитрее лисы будет.

– И на него смекалки хватает. Хватило бы пороху!

– Ишь ты! – ухмыльнулся Завойко, положив руку на плечо Зарудного. Хвалился штыком опрокинуть, а теперь подавай ему порох! Ну, добро! Вы займите Николая Николаевича, расскажите ему о наших приготовлениях, а я тем временем бумаги посмотрю.

Пока Зарудный описывал Назимову, как располагаются батареи, Завойко вскрывал казенные пакеты, привезенные «Оливуцой». Вызвав мальчика-кантониста, исполнявшего обязанности курьера, он что-то приказал ему, а затем углубился в чтение бумаг, прислушиваясь краем уха к словам Зарудного.

Батареи охватывали Петропавловск подковой. Человеку, который оказался бы внутри подковы, лицом к югу, общая картина рисовалась бы так. На правом конце подковы, в скалистой оконечности Сигнальной горы, строилась батарея, защищающая вход на внутренний рейд. Ее площадка вырубалась в скале и была почти неприступна для морского десанта. Справа же, на перешейке между Сигнальной и Никольской горами, наметили место для другой батареи. У северной оконечности Никольской горы, на самом берегу, возводилась батарея для предотвращения высадки десанта в тыл и попытки захватить порт с севера. Следующая за ней батарея – на сгибе воображаемой подковы – должна держать под огнем дефиле и дорогу между Никольской горой и Култушным озером, если неприятелю удалось бы подавить сопротивление береговой батареи. Затем шли три батареи – они легли редкой цепью слева, по матерому берегу, против перешейка, в основании песчаной косы – и последняя за кладбищем, у Красного Яра.

Наличной артиллерии не хватало и на треть возводимых укреплений, – на каждую батарею требовалось по меньшей мере три-четыре пушки. Если бы построить прочные земляные укрепления, подвезти лес, необходимый для артиллерийских платформ, а главное – получить солдат, пушки, порох, оборона Петропавловска выглядела бы совсем иначе. Но как добыть все это? Хорошо бы оставить здесь «Оливуцу»: с одного борта можно было бы снять десять пушек, да и людей стало бы побольше. Но Завойко не властен распоряжаться корветом, приписанным к отряду адмирала Путятина.

Василий Степанович читал письма, присланные русским консулом в Американских Штатах. Консул просил Завойко познакомиться с содержанием некоторых депеш, чтобы тотчас же, ввиду их важности, отправить курьера в Иркутск. Это была не лишняя мера. Задержка писем на целые месяцы до следующей почты или до случайного иркутского курьера была здесь в порядке вещей.

Офицер, посланный в Америку для приобретения нарезных ружей, доносил артиллерийскому департаменту, что некий Петерс, подрядившийся поставить пятьдесят тысяч нарезных ружей, оказался жуликом и безуспешно разыскивается полицией; что все крупные оружейные фабриканты взяли подряды у британского правительства; что надежда на получение оружия у Кольта весьма сомнительна, так как и он ведет темную игру с представителями несколь-

ких европейских держав одновременно. Не лучше обстояло дело и с десятью тысячами пудов пороха, обещанного купцом Перкинсом.

Штабс-капитан Лиlienфельд, также командированный из Петербурга в Штаты, писал:

«Прошу доложить генерал-адмиралу мою всепокорнейшую просьбу не принимать в Петербурге никаких предложений от странствующих промышленников, особенно американцев. Здесь, на месте, нельзя не быть пораженным легкостью, с которой эти господа берутся за дела вовсе незнакомые, в надежде обильной жатвы, клянутся и представляют всевозможные гарантии – и все это оказывается ложью... Судя по значительным заказам военного оружия, поступившим с 1850 года на Люттихский рынок из Мексики и Бразилии, а равно по огромному числу охотничьего оружия, ежегодно отправляемого из Люттиха в Америку, можно полагать, что ружейное производство в этой части света не достигло большого развития. Ружья, производимые здесь, по-видимому, необходимы американцам для истребления туземных племен...»

Запечатав письма, Завойко, приказал Зарудному отправить их с курьером в Иркутск, не теряя ни часа, присовокупив свой отчет за несколько минувших недель и настойчивые просьбы о помощи Петропавловску.

На пороге Зарудный столкнулся с Настенькой, сиротой, которая воспитывалась в доме Завойко. Она пришла звать к обеду.

Поклонившись девушке, Зарудный хотел было пройти мимо, но она задержала его в коридоре и, оглянувшись на дверь, заговорщицки сунула Зарудному записку.

– Маша Лыткина просила передать вам... Прощайте, – тихо сказала она.

Зарудный не успел и ответить, как сверкнули голубые настороженные глаза и девушка скользнула мимо, оставив его с запиской.

Зарудный недоверчиво посмотрел на бумажку. Отчего так трудно стало вдруг дышать? Он вертел в руках записку и думал: «Вероятно, вздор, девичьи пустяки, желание хоть чем-нибудь заполнить праздную жизнь... Несколько туманных фраз, написанных полудетским почерком, таинственные многоточия, а может быть, и чужие слова, запомнившиеся при чтении чувствительных романов». Как и вчера в парке, Зарудный больно ощутил разницу возрастов, почувствовал, как далек он от круга интересов Маши.

Сын ялуторовского мещанина, выросший в сибирской глухомани, он был воспитанником декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. Якушкин обучал ребятишек грамоте, языкам, древним и иностранным, геометрии, физике, химии и приучал их к ремеслам, огородничеству и собиранию лекарственных трав. Щуплый, стареющий, но живой, необычайно подвижной человек в полинявшем мундире, с впалыми щеками и озабоченным выражением остроносого лица, Якушкин и по сей день оставался для Зарудного нравственным идеалом.

Якушкин не забывал об ученике и теперь. Он писал Зарудному из Ялуторовска в Иркутск, когда того, с помощью окружавших Муравьева друзей и родственников декабристов, удалось устроить в губернский город; писал и в Петропавловск, после того как Зарудный был спроважен на Камчатку и явился туда с охотничьим ружьем в руках и списком письма Белинского к Гоголю, спрятанным на дне чемодана, под бельем.

На Камчатке он проводил жизнь в частых разъездах, отправляясь в дорогу и поздней осенью и в первые, самые тяжелые, месяцы зимы, когда беснуется камчатская пурга и снег метет не переставая.

Услыхав шаги в кабинете, Зарудный сунул письмо в карман и вышел на крыльцо. Только за оградой парка, под тенью корявых, изломанных тяжестью снега и ветром берез, он прочитал записку Маши.

«...Я вчера, вероятно, показалась Вам вздорной и капризной. Не пожимайте плечами – это так. И записку мою Вы осудите, посмеявшись в душе надо мной. Но Вы можете вдруг уехать, не повидав меня. А мне нужно Вас увидеть, нужно спросить об одном важном предмете. Маша».

Зарудный бережно сложил письмо, спрятал его в карман и, вполголоса напевая шутивную песенку, зашагал вниз по тропинке.

Ш

Дом Трапезникова стоял на краю поселка, у подножья Никольской горы, и мало чем отличался от темных лачуг обывателей. Единственная примета, по которой можно было узнать жилище почтмейстера, – желтый почтовый ящик, висящий у входа. Крыша из длинной камчатской травы замшела и кое-где провалилась.

На окраине поселка обычно тихо и безлюдно. Изредка здесь проходили сменявшиеся караулы порохового погреба. Они шли в порт мимо окраинных домиков, сквозь заросли диких роз, жимолости, по полянам, покрытым густой травой. Но теперь наступили «почтовые дни», и дом почтмейстера стал местом паломничества многих жителей Петропавловска.

Диодор Хрисанфович Трапезников редко появлялся в городе, теперь же он расхаживал у казенных построек и подолгу простаивал в порту, устремив свой взор на суда, как бы решая, можно ли доверить утлому транспорту драгоценный почтовый груз. Он уже не ходил, по своему обыкновению, с низко опущенной головой, шаря глазами по земле, как человек, что-то потерявший, а шествовал с горделивой осанкой, в фиолетовой шляпе, покрытой сальными пятнами.

В часы, когда Диодор Хрисанфович прогуливался в порту, размышляя над реформами почтового дела в России, его помощник Трумберг прекращал прием писем и вел душещипательные разговоры с экономкой Трапезникова, тучной Августиной, которую многие считали сожительницей почтмейстера. Разговор шел преимущественно о догматах лютеранской церкви, о немецкой кухне, архитектурных красотах Ревеля и велся с помощью междометий и восторженных восклицаний.

Никто не знал, когда уйдут «Оливуца» и транспорт – это могло случиться в любой день, – но то, что с ними отправится почта, было известно всем, и контора Трапезникова стала средоточием общего интереса.

Диодор Хрисанфович стоял у порога собственного дома, когда Зарудный пришел к нему с частными письмами в Ялуторовск и Иркутск. Почтмейстер переругивался с женщинами – солдатскими вдовами, хлопотавшими о пенсии, и двумя нижними чинами из портовой команды. Протянув правую руку с грязным указательным пальцем, он цедил сквозь зубы:

– В ящик! В ящик, каналы!

Пререкания эти шли, видимо, давно. Одна из женщин успела поплакать и теперь, всхлипывая, вздыхала так глубоко, что Трапезников с опаской косился на нее.

– Видишь ты, – начал один из солдат, – ящик твой шибко большой, там письму недолго и потеряться, а мы...

Он не успел договорить, как почтмейстер взревел:

– Не смей тыкать, я тебе не ровня! – Потом хмыкнул носом и строго спросил: – Вы что же, недовольны порядком, установленным правительством?

– Не-е-е, – торопливо заговорил солдат, – мы не супротив порядка. Однако просим из рук взять письма, как прежде брали... Чтоб в книгу аккуратно записали...

– Бросай в ящик, успеем записать.

– А ты прежде запиши.

– Порядка такого нет, дубина этакая! Инструкция запрещает.

– Мы инструкции не касаемые, – заголосила пожилая баба, – мы приватные, ба-а-рин... Возьми письмо Христа ради. Последний целковый отдала...

Она упала перед ним на колени.

– С-с-скоты! – прошипел Трапезников и захлопнул дверь, задвинув изнутри засов.

Просители растерялись и не знали, что им теперь делать: опустить письмо – того и гляди суда уйдут, а Трапезников в отместку им и не вынет... Каверзный характер его в Петропавловске хорошо был известен.

Зарудный взял письмо у женщины, все еще стоявшей на коленях, и бросил его в ящик.

– Барин, барин! – заплакала женщина. – Что же ты со мной сделал, барин!

– Вот что, служивые, – Зарудный не обращал внимания на ее слезы, живо бросайте письма в ящик. Ничего им не станет.

Солдаты мялись в нерешительности, стараясь не смотреть на Зарудного.

– Вы меня знаете? – спросил он.

– Как не знать! – привычно ответил молодой солдат, хоть он и впервые видел Зарудного.

Второй сказал:

– Примечали...

– Напрасно время тратите здесь. – Зарудный постучал согнутым пальцем по своему лбу и показал на дверь, за которой скрылся Трапезников. – Не прошибете! Я обещаю вам, что письма будут вынуты из ящика в самом скором времени и занесены в реестр.

Спокойный тон Зарудного подействовал. Письма упали в ящик. Люди прислушивались к таинственному шороху конвертов; солдат даже похлопал ладонью по гладкой поверхности, как бы проверяя прочность ящика.

На настойчивый стук Зарудному открыли дверь, и он очутился в большой уютной комнате, пропитанной каким-то кислым запахом. На полу были свалены объемистые почтовые баулы, в самом центре комнаты выделялся стол с трехгранным зеркалом и уставами. Ветхая мебель почтмейстера была убрана в сторону, а посреди комнаты для приема пакетов был оборудован импровизированный прилавок из трех досок, положенных на ящики и покрытых зеленым сукном в живописных чернильных пятнах. На стенах висели карты, две олеографии, несколько пожелтевших гравированных картин, выданных из старых журналов, и нивесть зачем древние пистолеты и скрепленные сабли.

Диодор Хрисанфович, созерцая уставы и собственные руки, покоившиеся на столе, ответил на приветствие Зарудного не сразу. Морщась, он скользнул взглядом по партикулярному платью Зарудного и одним кивком головы приказал помощнику заняться посетителем. Процедура приема корреспонденции заняла около получаса.

В ожидании Зарудный стал рассеянно читать адреса на пакетах. Вдруг он наткнулся на знакомый почерк и склонился над письмом. Письмо в Иркутск, в канцелярию генерал-губернатора. И еще одно – в Петербург. Тот же мелкий, ровный почерк, что и в записке, переданной Настенькой. Однако это переписка самого господина Лыткина: казенные адреса, тщательно выписанные титулы. А почерк Машин.

В это время за стеной зычный голос запел по-английски:

Я иду из Алабамы, банджо верное со мной.

Я иду в Луизиану, чтоб, Сусанна, быть с тобой!

О Сусанна! Не плачь обо мне...

Кто-то торопливо говорил, тоже по-английски, увещевал, спорил, доказывал, но другой упрямо напевал песенку и прерывал ее только для того, чтобы разразиться хохотом. Наконец ему, видимо, надоела назойливость собеседника, и он громко крикнул:

– Идите к дьяволу!

Из соседней комнаты открылась дверь, и на пороге показался пыхтящий Чэзз, а за ним Магуд, натягивавший на ходу замшевую куртку. Трумберг, швырнув пакеты Зарудного на прилавок, бросился к выходной двери и почтительно распахнул ее перед Чэззом. Диодор Хри-

санфович молча привстал со стула и проводил своего жильца заботливым взглядом. Заметив в открытую дверь женщин, которые все еще сидели на траве перед домом, он помрачнел.

Сдав корреспонденцию, Зарудный завел с почтмейстером дипломатический разговор, спросив, доволен ли он квартирантом.

– Премного! Личность во всех отношениях выдающаяся, – ответил Трапезников, высоко подняв брови. – Обширнейших познаний человек.

– Чересчур громкий, кажется?

– Это, сударь-с, сила наружу рвется.

– Да-с, – протянул Зарудный, желая продлить разговор. – Долгонько он у вас тут...

– Как раз в вояж собрался, – конфиденциально сообщил почтмейстер.

– Далеко ли? – спросил с притворным интересом Зарудный. – Неужто все дела переделал? Трапезников развел руками и таинственно перемигнулся с Трумбергом.

– Хранят в секрете-с! В строжайшей тайне-с!

Зарудный вдруг хлопнул себя по лбу, будто вспомнив что-то важное.

– Диодор Хрисанфович, вы меня очень одолжите, если прикажете вынуть из ящика письма. Я уговорил ваших просителей опустить письма в ящик и обещал заступничество. Сделайте милость.

Почтмейстер с трудом подавил тщеславную улыбку и направился к ящику. Приятно, что молодой человек, любимец губернатора, столь учтиво просит его о пустяковом одолжении, постигая всю значительность и важность его персоны!

Открыв ящик, Диодор Хрисанфович вынул письма и, не зная, чего ради, цыкнул на женщин, сидевших на траве в ожидании этой торжественной минуты. Женщины поднялись и заговорили разом, весело и шумно.

IV

Завойко принял американцев в гостиной, куда он с Назимовым перешел после обеда. Людей малознакомых или несимпатичных в свой домашний кабинет он не звал.

К Чэзу Завойко привык, ценил его деловитость и практическую пользу, которую тот приносил, доставляя в Петропавловск съестные продукты и предметы первой необходимости. Все хоть и не первого сорта и стоит недешево, но не дороже, чем в магазине Российско-Американской компании.

Даже в тихом Петропавловске Чэз ухитрился жить в состоянии постоянной коммерческой ажитации. Он мечтал о монополии, тягался с оборотистым гижигинским купцом Бордманом из Бостона, с Росселем и К°, с русскими купцами Брагиным, Трифоновым и Жереховым и успешно конкурировал с Российско-Американской компанией, равнодушной к нуждам Камчатки. Завойко давно уже пригляделся к толстой, обрюзглой фигуре Чэза, к его сырому лицу с хитрыми, бегающими глазками. Магуд же был здесь человеком сравнительно новым и притом замкнутым. Завойко не упускал его из виду и даже завел особый «счет» на напористого американца. В нем значились покупка дорогих мехов за бесценок, охота на ценных соболей и другие грехи, которые Завойко никому не прощал.

Магуд был штурманом трехмачтового китобойного судна «Мария», а не судовладельцем, как отрекомендовал его Чэз. В Петропавловск он попал при таких обстоятельствах.

В середине июня минувшего 1853 года в солнечный полдень на зеркальной глади Авачинской губы показались три вельбота, шедшие из-за полного безветрия на веслах. На вельботах находилась вся команда китобоя «Мария» во главе с капитаном Дравером и штурманом Магудом. Капитан объявил Завойко, что судно затонуло из-за течи и лежит в Ягодовой бухте. Хотя уже три дня стояла ясная, безветренная погода, Дравер утверждал, что всему виной сильный шторм, который настиг «Марию» минувшей ночью у входа в Авачинскую губу.

Дравер намеренно посадил «Марию» на камень. Он решил получить крупную страховую сумму за старое судно и, ничем не рискуя, дожидаться в Петропавловске, пока какой-нибудь американский корабль увезет их в Штаты. Завойко, осмотрев «Марию», смекнул, в чем дело. За небольшие деньги он купил вельботы у Дравера, обрадованного новым доходом, а расснащенную «Марию» привели в бухту, вытащили на берег и приспособили под магазин.

Но когда команда «Марии» собралась на китобое «Ноубль» в Америку, Магуд заявил, что хочет остаться на Камчатке, чтобы попытаться здесь счастья. Вместе с ним остался маленький рыжий матрос. Вдвоем они поселились в домике почтмейстера, и жители Петропавловска стали уже к ним привыкать.

У Магуда были основания не торопиться с возвращением в Америку. Там каждый шаг этого высокого, плечистого янки с розовыми глазами альбиноса был отмечен преступлениями. Молодость Магуд провел среди тех, кто с особой жестокостью и бессердечием прокладывал свой путь от атлантического побережья Америки к тихоокеанскому, пересекая материк – пески, горы и прерии.

На побережье Тихого океана Магуд столкнулся с русскими и сразу же не поладил с ними. Те жили здесь давно. Жили в дружбе с местными племенами, исконными хозяевами побережья, Аляски и Алеутских островов. Вдали от родины русские сохраняли свою самобытность – стойкие, выносливые люди, хорошие мастера, охотники и храбрые солдаты.

Магуд осел в живописной местности вблизи форта Рос, купленного у России Суттером, и одним из первых набросился на золото, найденное на земле честолюбивого швейцарца. В несколько недель он разбогател, но, как и многие авантюристы, потерявшие голову от удачи, спустил свое золото в кабаках Сан-Франциско.

В мае 1852 года на американском судне «Анна-Луиза» Магуд совершил циничное убийство. Один из матросов, негр Армстронг, недостаточно быстро исполнил приказание штурмана Магуда. Магуд, с утра чем-то недовольный, рыскавший по палубе с налитыми кровью глазами, ударил его мушкетом по голове. Армстронг упал с вышибленным глазом, обливаясь кровью. Как только Армстронга привели в сознание, Магуд потребовал, чтобы он очистил снасть под бушпритом. Негр, шатаясь от потери крови, полез исполнить приказание, но не сумел удержаться и сорвался в море, успев схватиться за конец веревки. Не издавая ни единого крика о помощи, он держался немеющими пальцами за канат, пока Магуд не приказал обрубить конец. Армстронг утонул.

Магуд понимал, что дело всплывет на поверхность, если останутся в живых матросы-негры. В течение трех дней он и капитан «Анны-Луизы», пьянчуга Гайрз, убили двух негров, сбросив трупы в море.

«Анна-Луиза» вошла в британские воды. Оставшиеся в живых члены команды, белые матросы, связали Магуда и Гайрза и доставили полицейским властям на острове Уайт.

Капитан и штурман предстали перед ньюпортским судом. Дело было совершенно ясное. Магуд и Гайрз не отрицали обвинения. Капитан, отрезвившись в сырой камере ньюпортской тюрьмы, скулил и каялся, Магуд же держался с привычной наглостью, доказывая, что он казнил негров за оскорбление достоинства гражданина Соединенных Штатов и тем самым защищал честь своей нации и своего правительства, единственно перед которым он и ответствен.

На разбор дела требовалось несколько минут, но суд затянулся на неделю. Ньюпортский судья снесся с Лондоном и огласил следующий приговор:

«Господа Гайрз и Магуд! Вас, американских подданных, обвиняют в умерщвлении нескольких человек на американском судне, когда как вы не находились еще в британских водах. – На последних словах судья сделал многозначительное ударение, посмотрев поверх очков на притихший зал. – И так как нам не было предъявлено форменного требования задержать вас, без чего, по договору с Соединенными Штатами, мы не можем арестовать вас, – вы свободны и будете иметь дело с вашим правительством».

Магуд вышел из суда, скорчив мину оскорбленной добродетели, а трое белых матросов, которые доставили штурмана в суд, бежали, понимая, что ждет их на «Анне-Луизе». Судьба двух оставшихся матросов подтвердила благоразумие беглецов: набрав команду из темных личностей, шлюющихся в портовых городах Англии, Магуд вскоре сумел избавиться и от этих двух матросов – они последовали за Армстронгом и его товарищами.

О преступлении на «Анне-Луизе» стало известно и в Америке, где Магуда могли преследовать не только правосудие, но и родственники двух убитых янки, не полагавшиеся на строгость юстиции. Тогда штурман, пронюхавший об интересе правительства Соединенных Штатов к Восточной Сибири и Амуру, предложил свои услуги и вскоре очутился в Петропавловске.

Все складывалось как нельзя лучше: от почтмейстера Магуд узнал, что «Оливуца» отправляется в устье Амура – район, который более всего интересовал его, – и решил во что бы то ни стало попасть на корвет. Почтмейстера подкупило обещание Магуда поддержать в Иркутске (Диодор Хрисанфович был убежден, что Магуда в Иркутске встретят как почетного гостя) его проект об упразднении всяких почт с нарочными курьерами.

Завойко, хотя и не подозревал, что американский гость прожил столь бурную жизнь, но испытывал инстинктивную неприязнь к этому длиннорукому верзиле с жесткими бакенбардами, торчком стоявшими от висков до подбородка. Волосы Магуда, зализанные, с ровным, как надрез, пробором, пахли рыбьим жиром.

Для начала Чэзз завел разговор о «приобретении пушной монополии на выгодных для господина губернатора условиях». Завойко, сидевший на диване рядом с Назимовым, подтолкнул капитана локтем и сказал шутливо:

– Видите, Николай Николаевич, сколько имеется охотников до русских соболей. Не проходит и года, чтобы мне не делали самых лестных предложений.

– Значит, Камчатка не бесприданница, а богатая невеста, – заметил в тон Назимов.

– Соблазнят меня когда-нибудь господа купцы. Брошусь очертя голову в водоворот коммерции и спущу Камчатку, как гусар родовое имение.

Чэзз угодливо рассмеялся, издавая какой-то тьявкующий звук, более похожий на стон, чем на смех.

– Я предлагаю денежное дело, – сказал он добродушно, – тут проигрыша быть не может. Будете делать чистые деньги, to make money!¹¹ Черная работа достанется нам.

Завойко прищурил глаз.

– Уж не собираетесь ли вы приобрести монополию и на китобойные промыслы в наших морях?

В разговор вмешался Магуд:

– Кто же покупает то, что можно взять даром?

– Мне жаль, Чэзз, – сказал Завойко, сдерживая недовольство, – что вы возвращаетесь к этому вопросу. Я своей властью не могу разрешить ничего подобного. Думаю, что и генерал-губернатор Восточной Сибири не смог бы удовлетворить вашу просьбу без согласия правительства.

Чэзз решил апеллировать к Назимову, призывая его в свидетели и судьи.

– Господин капитан рассудит нас. На этот раз мы предлагаем совершенно новую комбинацию. Мы купим не только монополию на пушную торговлю Камчатки, но и монопольное право на разработку золота!

Чэзз ждал, какое впечатление это произведет на русских.

– Золота на Камчатке еще никто не находил, – возразил Завойко. – Вы бросаете деньги на ветер.

– Мы найдем золото! – Магуд впился глазами в несговорчивого губернатора.

¹¹ Делать деньги.

– Да, мы найдем золото, – быстро подхватил Чэзз, – и дадим большую прибыль русской казне. Торговля на Камчатке плохо организована, – надеюсь, господин губернатор не обидится на меня за мои слова. Торгуют по-настоящему только раз в году, зимой, и никто не знает, что принесут торги. И разве это разъезды купцов? Это разбойничьи набеги, одно разорение для бедных туземцев! Привозят разный хлам – рваные одеяла, дырявые котлы, ржавые гвозди, дрянной табак, и за все это охотник должен отдать все свое добро... Камчадалы разоряются, промысел приходит в упадок.

Чэззу нечасто приходилось произносить такие длинные речи. К этой беседе он тщательно готовился, надеясь сломить упорство Завойко. Магуд с уважением слушал Чэзза.

– Я знаю, – продолжал Чэзз, – что господин губернатор думает о том, как бы оградить туземцев от алчности русских купцов.

– И не только русских, – заметил Завойко, но Чэзз пропустил эти слова мимо ушей.

– Да, да... Стараются, назначаете специальных чиновников для наблюдения за торговлей, но все напрасно. Чиновники берут взятки, а взятки тоже идут за счет камчадалов, и они оказываются в еще большем убытке. Все воруют, обманывают казну и друг друга...

Завойко поражала неожиданная словоохотливость Чэзза.

– А вы хотите взять монополию на кражу? – спросил он.

– Что вы, господин губернатор! – запротестовал Чэзз. – О! Вы хорошо знаете, как я привязан к Камчатке, как дорожу ее благополучием!

– Я думаю, – усмехнулся Завойко, – что можно печься о благосостоянии края и не упрямывая его на правах монополиста в собственный бумажник.

Чэзз воздел руки к потолку, изображая крайнюю степень изумления и обиды.

– Как? Неужели вы думаете, что я хочу обогатиться за счет Камчатки? Я буду терпеть убытки год, два и больше. Возможно, впоследствии я сумею возратить себе деньги, скопленные многолетним трудом. Но на первых порах убытки, одни убытки, провалились я на этом месте!

– Такое бескорыстие делает вам честь. – Завойко старался говорить как можно более серьезно.

Он вспомнил свое посещение Америки в середине тридцатых годов. Оглушенный, он бродил по людным улицам, поражаясь кипучей энергии делового, напористого и бесцеремонного люда.

– Благодарю вас! – обрадовался Чэзз. – Я засыплю Камчатку крупой, сахаром, чаем, затоплю ее патокой. У вас будет все, что необходимо для человеческой жизни. Чэзз ничего не забудет и ничего не упустит.

Он заговорил быстро, загибая пальцы:

– Дробовики, штуцеры, лучший в мире порох, патроны, свинец, топоры, пилы, ножи и все, все остальное, что может понадобиться, мы доставим на американских судах. Все будет лучшего качества и по цене, которой еще не знали на полуострове.

«Зачем пришел этот недалекий, шумный человек? – думал Завойко, наблюдая за Чэззом. – Неужели он надеется убедить меня? Разговор о монополии поднимался не раз. Чэзз знает, сколь безнадежно это дело. И все-таки явился. Выкладывает на стол старые доводы, разглагольствует, старается...»

Завойко продолжал слушать Чэзза.

– Мы будем покупать все. В Камчатку придут горные инженеры, торговцы, вольные работники, хлынет поток денег, край преобразится, как это случилось с Калифорнией, когда на земле сумасшедшего Иоганна Суттера нашли золотой песок. Вы станете маленьким царьком, мистер Завойко!

– Это слишком хлопотно. – Завойко, насмешливо подняв бровь, изучал Чэзза. – Я только царский слуга – и то не знаю покоя. Да и, насколько мне известно, князек Суттер стал нищим после открытия золота.

Магуду был не по душе разговор о Суттере и калифорнийском золоте. Он заворочался в кресле и громко засопел, выражая нетерпение.

– Он не был практичным человеком, господин губернатор, он не умел делать деньги, – бодро настаивал Чэзз.

– Хорошо, Чэзз, – прервал его Завойко, – передохните немного и выслушайте меня. Дело давно решенное, и не стоит к нему возвращаться. Золота на Камчатке нет, а что есть, то сами, даст бог, подберем. Живите себе у нас спокойно да деньги наживайте, а в благодетели не суйтесь.

В комнату вошла Настенька с подносом, на котором стояли бутылка рому и ваза с фруктами, привезенными на «Оливуце». Магуд впился глазами в полную фигуру девушки, смущенной наступившим молчанием и взглядами посторонних. Настенька вышла, но Магуд не сводил глаз с дверей, будто ожидая, что она вернется. Он стал решительнее, развязнее:

– Вы несправедливы к нам. Это не по-соседски.

– Вот как! – насторожился Завойко.

– Русские живут в Америке, на Аляске и южнее, в долине Сакраменто, торгуют, берут себе жен...

– Ну и что же?

– Правительство Соединенных Штатов не препятствует им.

– Было бы смешно, если бы правительство Соединенных Штатов пыталось помешать нам, – промолвил Назимов, долгое время молча наблюдавший за Магудом и Чэззом. – Мы пришли на Аляску в те времена, когда Штатов еще не было и в помине. Мы живем на землях, принадлежащих индейским племенам, в мире с ними...

– И не требуем монополий! – вставил Завойко.

– За долгие годы жизни на Аляске мы не возбудили против себя ни одного племени. Заметьте, ни одного, – продолжал Назимов, – тогда как Соединенные Штаты своим желанием властвовать в обеих Америках уже нажили себе много врагов. Штаты уничтожают беззащитные племена, всегда слишком слабые, чтобы сопротивляться, захватывают самые плодородные земли...

– Сильный обязан захватывать, – изрек Магуд. – Воля, сила – это ветер, без которого паруса висят как тряпье.

– Ветры бывают и противные! – сказал Завойко.

– Ладно, – сказал Магуд, махнув рукой, – вижу, что так дело не пойдет. Мы говорим – да, вы говорите – нет. Вы, кажется, считаете нас шарлатанами?!

– Что вы, Магуд! Я так давно знаю мистера Чэзза. Мы отлично понимаем друг друга.

Чэзз поспешно закивал головой, с опаской поглядывая на Магуда.

– В таком случае я хочу, чтобы вы поняли меня. Мы предлагаем вам выгодное дело. Вы не хотите. Ладно. Мы говорим вам: попробуйте год-два. За это время никто ничего не разносит. Камчадалы верны и незлопамятны, как собаки...

– Полегче, Магуд! – предостерег Завойко.

– Ладно. Можно полегче. Это не меняет дела. Чего вы боитесь? Время военное, в Петербурге свои заботы. А мы с вами поладим.

– Чего же вы хотите? – нетерпеливо спросил Завойко.

– Доверия. Хочу доверия и свободы действий. Вот господин капитан отправляется на Амур, в новые края. Я опытный моряк, золотопромышленник и хотел бы сопровождать господина капитана.

Завойко насторожился. Назимов вопросительно посмотрел на губернатора: откуда Магуду известен маршрут корвета? О пункте назначения «Оливуцы» знают немногие, а открытие Невельского сохраняется в строжайшей тайне.

Губернатор сдержал себя и довольно миролюбиво спросил у Магуда:

– Что привлекает вас в этот суровый край?

– Риск, господин губернатор, торговый риск. Разрешите мне сопровождать господина капитана – и к будущей навигации я открою на новых землях магазины не хуже лавки мистера Чэзза. Мы, американцы, предприимчивые люди. Через год ваши колонисты на Амуре ни в чем не будут испытывать нужды. По рукам?

Завойко покачал головой.

– Вы все напутали, Магуд. Насколько мне известно, на Амуре нет русских колонистов, а выход из реки закрыт песчаными барами и перешейком, который соединяет полуостров Сахалин с матерым берегом. «Оливуца» военный корабль, и никто не станет отправлять его в такое тревожное время в дикие, незаселенные места...

Магуд рассмеялся и укоризненно покачал головой.

– Мистер Магуд бывалый моряк, – просительно вставил Чэзз. – Он может быть очень полезен господину капитану.

– Обойдемся, Чэзз.

– Вы нелюбезны, хозяин, – сказал Магуд, переходя на грубоватый тон, в котором он чувствовал себя наиболее уверенно.

Завойко прорвало:

– Какого черта я буду с вами любезничать! Что вы за птица такая диковинная?

Магуд вскочил и, сунув руки в карманы, вскричал:

– Позвольте!

– Не позволю, – отрезал Завойко. – Запомните это раз и навсегда: ничего не позволю! Я три года бьюсь, объясняю камчадалам, что промыслять соболей в марте и апреле – грех, преступление, что соболи в эту пору ценные. И когда мы уже почти добились своего, приезжаете вы, цивилизованная личность, и развращаете людей. Вы промысляете ценных соболей, подбиваете на это охотников, вымениваете лучшие шкурки за безделицу, за побрякушки, а мистер Чэзз рекомендует вас таким благодетелем, филантропом!

Магуд отступил, растерялся и пробурчал с опаской:

– Меня оболгали, хозяин.

– Сомневаюсь. Запомните, Магуд: замечу еще что-нибудь в этом роде, выведу вас в море – и за борт! Если угодно, добирайтесь вплавь хоть до Амура. Никакого скотства не допущу. Понятно?

Магуд нехотя кивнул. Завойко подвинул ему недопитую рюмку:

– Пейте и убирайтесь!

Пораженный Чэзз смотрел, как Магуд покорным движением взял рюмку, выпил и поплелся к двери.

Завойко с презрением смотрел на Магуда, затем повернулся к опешившему купцу и бросил недовольно:

– Прощайте, Чэзз. Постарайтесь впредь не отнимать у меня времени такими визитами. Мне стыдно перед гостем.

– Прошу прощения, господин губернатор, – виновато пробормотал Чэзз, пятясь и закрывая за собой дверь.

Когда шаги американцев затихли, Завойко и Назимов взглянули друг на друга и одновременно повернулись к окну, из которого был виден двор.

Компаньоны шли рядом – высокий, невозмутимый Магуд и семенящий, жестикулирующий Чэзз.

– Можете поздравить меня, – сказал Завойко. – До сих пор на Камчатке не было таких диковинных фруктов, – климат не подходящий! А тут объявились, и притом без всяких усилий с моей стороны.

Пересекая обширный солнечный двор, Магуд только посмеивался в ответ на сердитое ворчание купца.

– В хорошее положение вы меня поставили, черт бы вас побрал! говорил Чэзз. – Глупее ничего не придумаешь... Настоящее свинство! Судовладелец! – Толстяк злорадно хихикнул. – Вы бы еще приказали отрекомендовать себя губернатором Нью-Йорка или сенатором! Тут-то, – шлепнул он себя ладонью по мясистому лбу, – тут-то у вас есть что-нибудь?! С такими повадками лучше наняться на бойню – я вам могу дать даже рекомендательные письма в Штаты, чем лезть куда-то на Амур...

Штурман несколько не обиделся. Он хлопнул Чэзза по плечу и сказал добродушно:

– Оставьте ваши письма при себе, я и без них буду на Амуре.

– Еще бы! Мистер Завойко позовет вас и попросит прощения!

– Вряд ли, – ответил Магуд, оглядываясь на дом.

– Ах, вряд ли? – удовлетворенно вскричал Чэзз. – На что же вы рассчитываете?

– На себя... Ну, и на вас, Чэзз.

– Выбросьте это из головы, – сказал Чэзз, чувствуя, как в душу закрадывается страх. – Ради вас я больше не сдвинусь с места.

Штурман посмотрел на Чэзза с сожалением и усмехнулся.

– Дело не во мне, Чэзз. Вы это, надеюсь, понимаете?

Чэзз остановился, с ненавистью посмотрел на огромные сапоги Магуда и сказал неуверенно:

– Ну и ладно. Это ваше дело. А я иду своей дорогой, слышите? – Голос его сделался хриплым от сдерживаемой злости. – Штурман Магуд, я деловой человек. Можете получить у меня в магазине... – Он замялся, впился взглядом в смеющиеся глаза Магуда и прохрипел напоследок: – В кредит, да, да, в кредит все, что вам понадобится, а меня оставьте в покое...

Цинга

I

Тяжкое бедствие обрушилось на «Аврору» – появилась цинга, она валила матросов с ног. Резкий переход к холоду, многодневные туманы, сырость, изнурительные вахты в дни сплошных штормов, пресная вода, пропитавшаяся гнилью в старых деревянных бочках, – все это неизбежно должно было вызвать болезнь среди команды, изнуренной небывалым десятидневным переходом. На иеромонаха Иону пал нелегкий труд – готовить умирающих к переходу в небытие. На фрегате существовала маленькая церквушка с походным иконостасом и лампадой, которую гасили только в те часы, когда шла погрузка пороха на судно. Иона набрал певчих из матросов, и службы, которые он теперь отправлял в открытом море, доставляли иеромонаху своеобразное удовлетворение: он чувствовал себя человеком нужным и деятельным, далеко не последним в этом подлунном мире.

Цинга еще не трогала тучное тело иеромонаха, приберегая его, как мрачно шутил он сам, напоследок. Иона почти не спал, его и ночью поднимали с койки. Оступаясь на крутых трапах, ударяясь о выступы корабельных построек, он тащился по кренившейся палубе в лазарет к умирающим.

Иногда Ионе удавалось на короткое время уснуть, и он часто видел во сне, как матросы зашивают в брезент человека, похожего на него, только с огненно-рыжей косматой головой. Голова просвечивала даже через толстый брезент, обжигая руки матросов; матросы злились, ту же прикручивали к ногам человека двухпудовую балластину и бросали его в кипящую пучину. И в тот же миг, проваливаясь куда-то, Иона постигал, что в брезенте находятся его бранные останки, а огненная голова – указание на то, что ждет Иону в ином мире за многочисленные прегрешения, в которых он за недосугом никогда не исповедовался. Громкий храп Вильчковского за переборкой, возвращавший в прежние времена Иону в прозаический, реальный мир, теперь редко был слышен. Фрегатского лекаря терзал ревматизм. Он тихо стонал в своей клетушке или, когда болезнь отпускала немного, уходил в лазарет.

Природный здравый смысл помогал Ионе постичь всю тщету своих усилий. Он не мог облегчить людские страдания и находил некоторое удовлетворение в том, что и наука, воплощенная в атеисте Вильчковском, бессильна помочь умирающим людям. Матросские лица в полумраке больничной каюты давно слились для Ионы в одно простое, мужицкое лицо, с разлитой на нем смертельной бледностью. Где-то он уже видел это лицо! Не то в бедной деревенской избе, освещенной дымной лучиной, не то в холерном бараке, по которому некогда носился худощавый подросток, фельдшерский ученик Иона. А может быть, и на погосте за нищими нивами?

Тихий океан уже принял двенадцать матросских тел. Больше тридцати матросов и офицеров находились в тяжелом состоянии, их жизнь зависела более от случайных обстоятельств, чем от усилий Виталия Вильчковского. Но и из тех, кто еще держался на ногах, у ста сорока двух человек появились признаки цинги. «Аврора» превратилась в госпитальное судно, но без тех преимуществ, что имеются на специально оборудованных кораблях. Жилая палуба была занята больными, и по всему фрегату распространился запах хлора, укуса и жженого кофе, которым окуривались помещения.

«Аврора» уже больше месяца в океане. Сначала Изыльметьеву казалось, что погоня неизбежна. Но шли часы, дни, а марсовые не видели чужих кораблей. После нескольких дней переменных ветров задул попутный пассат, и «Аврора» под всеми парусами устремилась на северо-запад. Затем ветер, не меняя направления, усилился, и вскоре фрегат попал в полосу шторм-

мов; пришлось зарифить половину парусов и испытывать все неудобства бурной, промозглой погоды.

Изыльметьев отступил от рекомендованных лоциями океанских путей, он сошел с широкой водной дороги в опасные просторы океана. На специально собранном военном совете капитал объяснил офицерам необходимость этой рискованной меры. Только так можно было избежать встречи с военными судами Англии и Франции, плававшими в водах Тихого океана небольшими эскадрами.

Теперь океан мстил русскому капитану за дерзость. За все время плавания только несколько сносных дней было у Сандвичевых островов, словно для того и выпавших на долю экипажа, чтобы последующие бедствия ощущались с еще большей силой. Опасный, но попутный пассат сменился свежими противными ветрами и штормами, игравшими фрегатом, как скорлупой. Вокруг «Авроры» ходили серые упругие валы, остервенело била в скулы корабля океанская волна, и сильный ветер заставлял фрегат черпать бортами. «Аврору» раскачало еще в первые недели плавания, а теперь, после многодневных толчков, в палубах открылись пазы, и ледяная вода стала проникать в жилую палубу.

В несколько дней на фрегате все стало сырым, влажным, и распространившийся гнилостный дух не могли уже пересилить ни запах жженого кофе, ни хлор, ни перуанский бальзам. Матросы, продрогнув на шестичасовой вахте, спускались вниз и не находили в жилой палубе ни сухого угла, ни теплой постели. Повсюду потоки воды. Везде свинцовая сырость. Только изможденный, обессиленный человек мог уснуть в мокрой постели. Ни на минуту не умолкал скрип и треск старого фрегата. Ватервейс отошел на два дюйма от борта. Тросы лопались десятками, садились бимсы¹², выдавливая из своих мест каютные переборки. Через разошедшиеся пазы батарейной палубы вода проникала в кают-компанию.

Изыльметьев шел по палубе, тяжело передвигая ноги. Он направлялся к Вильчковскому: тот уже сутки не поднимался с постели.

Пробило семь склянок. Половина восьмого, но наступление утра почти не заметно. На шканцах двигались серые фигуры, держась за леера¹³, протянутые над палубой.

Иван Николаевич чувствовал, что цинга подобралась и к нему. Не помогли железное здоровье и сравнительно сносная пища. Тревога за судьбу экипажа, физическое напряжение последних недель пробил брешь, в которую и ворвалась болезнь. Окружающие еще не замечали этого, но он ясно ощущал, как болезнь чугуном тяжестью расплзается по членам. Чувствовались непривычная усталость, сонливость. Он исхудал, кожа рук стала сухой, приобрела землистую окраску и начала шелушиться. Сегодня утром, посмотрев в ручное зеркало, подаренное женой, он увидел два больших темных кольца вокруг глаз и непривычно заострившиеся черты лица.

Он недолго продержится на ногах.

В последние дни Изыльметьев уже не думал о столкновении с неприятельскими судами. За весь переход «Аврора» однажды, двенадцатого мая, встретила с английским военным кораблем. Неожиданно в легком тумане показался двадцатипушечный корвет «Тринкомали». Он приблизился к «Авроре», но никаких военных приготовлений не сделал. Суда сошлись на расстоянии четырех-пяти кабельтовых. На «Авроре» все было готово к бою. Но корвет лег на норд и с попутным ветром быстро скрылся за горизонтом. Он не приветствовал «Аврору», не обменялся с нею сигналами, а, как разведчик, неожиданно встретившийся с неприятелем, на мгновение замер и бросился наутек.

¹² Поперечные брусья между бортами, на которые настилались палубы.

¹³ Туго натянутые веревки; служили на парусных судах для разнообразных целей, в том числе и для безопасности движения по палубе во время шторма.

Встреча с английской эскадрой не пугала Изыльметьева. Может быть, столкновение с неприятелем, абордажная схватка вдохнет в людей энергию, которая всегда сопутствует подвигу? Лучше погибнуть, схватившись с врагом, взлететь вместе с ним на воздух, чем превратиться в безмолвный плавучий гроб. Изыльметьев не искал встречи с англичанами, но, вспоминая Кальяю, адмиральские фрегаты на рейде, он думал о сражении как о мужественном и счастливом исходе.

Чаще всего он размышлял о другом.

Плавая в Тихом океане впервые, он отказался от путей, указанных в лоциях. Не подверг ли он экипаж чрезмерной опасности? Лоции составляются на основании многолетних наблюдений над метеорологическими условиями, рекомендованные трассы по возможности обходят районы штормов и опасных ветров.

Весна и начало лета в северной части Тихого океана, на подступах к Сахалину и Камчатке, отличаются густыми туманами и бурями. В последние дни дует в лоб настойчивый северо-западный ветер, мешая «Авроре» хоть немного приблизиться к цели – Татарскому проливу и бухте Де-Кастри.

Изыльметьев назначил военный совет на девять утра и сейчас торопился к больному Вильчковскому – капитан хотел повидать его еще до завтрака.

У люка он заметил Александра МаксUTOва. Лейтенант намеревался пройти мимо, словно не видя капитана. Изыльметьев резко окликнул его:

– Лейтенант МаксUTOв!

– Простите, не заметил! – ответил тот.

По бесстрастному тону и злому прищурю глаз Изыльметьев почувствовал, что МаксUTOв лжет. Изыльметьев подозревал, что офицеры, с самого начала не одобрявшие принятый им маршрут, теперь осуждают его. Сумрачнее стал его первый помощник капитан-лейтенант Тироль; он поддержал предложение командира без веры, из одного служебного долга. Настороженный взгляд, брошенный на офицеров в кают-компани, показал капитану, как переменялось их настроение. Некоторые офицеры все реже попадались ему на глаза. МаксUTOв первый разрешил себе такую непростительную вольность. Лейтенант лгал, не умея скрыть ложь притворной растерянностью.

– Будьте внимательны, лейтенант, – строго сказал Изыльметьев. Палуба не Невский проспект.

– Слушаюсь, – отчеканил МаксUTOв, – понимаю.

– Извольте держать себя в руках и не страшиться невзгод. Тогда и служба не станет вам в тягость.

– Я полагаю... – начал было МаксUTOв.

– Научитесь внимательно слушать своего командира, – не дал ему договорить капитан и спросил: – Куда вы направляетесь?

– На урок. Сегодня читаю гардемаринам корабельную архитектуру.

– После урока отправитесь к капитан-лейтенанту Тиролю и передадите ему мое приказание: включить вас в список вахтенных офицеров. Нынче слегли еще два офицера.

– Слушаюсь! – повторил МаксUTOв глухим от бешенства голосом.

До сих пор он, занятый уроками с гардемаринами, освобождался от трудной вахтенной службы.

Преодолевая боль в суставах, Изыльметьев спустился по влажному трапу.

Вильчковского он нашел в кресле, с вытянутыми ногами, положенными на сиденье низкого стула. Доктор сделал усилие, чтобы приподняться, но тяжело повалился в кресло.

– Сидите, ради бога, сидите! – Изыльметьев подошел к нему. – Или лежите. Право, не знаю, как вернее сказать...

Боль за эти недели измучила доктора и оставила заметные следы на его выразительном лице. Он постарел и осунулся.

– Не могу лежать, Иван Николаевич, – пожаловался он, устраиваясь поудобнее. – Невероятный абсурд! Мне бы лежать неподвижно, аки младенцу, а не могу. Все скользко, мокро, мерзопакостно. Здесь хоть под утро удалось вздремнуть, а в постели за ночь глаз не сомкнул.

Изыльметьев опустил на неубранную койку доктора. Минувшие сутки были очень тяжелыми, капитану и на минуту не пришлось прилечь. Теперь захотелось упасть навзничь и растянуться на постели. Сами собой закрылись глаза, грузное тело подалось назад, но капитан успел упереться руками во влажное ворсистое одеяло, постеленное на койке, и удержаться в неестественной позе.

Доктор с опаской посмотрел на капитана. Два дня тому назад Вильчковский заметил, что Изыльметьев болен. Не вышла ли болезнь наружу?

Что это? Пятно на переносице, соединяющее два темных круга у глаз... Неужели кожная язва? Вильчковский подался вперед! Нет! Только тяжелая складка на переносице, тень от нее...

Все это длилось секунду. Изыльметьев поднял воспаленные веки и перехватил пристальный взгляд доктора.

– Что? Нехорош? – Он виновато улыбнулся.

– Напротив. Удивляюсь вашему стоическому характеру.

– Привычка, не более того, – устало сказал капитан. – Стар конь, а оглобли упасть не дают.

– Трудно? – участливо спросил доктор.

Изыльметьев кивнул.

– Что сегодня? – доктору не хотелось уточнять вопрос: «Сколько умерло, сколько новых больных?»

– Плохо. Ночью умерли трое. Квашинцев, Ярцев, Селиванов. Из первой вахты. Восемь человек слегли. Мне бы на ногах удержаться...

Вильчковский ответил уверенно:

– Вы кремень, Иван Николаевич. Вас ничем не прошибешь.

– Вы думаете?

– Уверен. Но спать хоть изредка, а надобно. Сон – великий исцелитель.

– Не спится.

Доктор знает, что капитан спит мало, проводит долгие часы у коек больных матросов, а говорит, что не спится, просто не спится...

Слышно, как океан могучими кулаками тужит деревянные борты, как скрипят тали и мачты. По переборке торопливо сбегает капли, словно боятся, что кто-то заметит их и преградит дорогу.

– Иван Николаевич, – умоляет Вильчковский, – вы бы приказали приносить мне больных на осмотр. Не могу я так... Лучше свяжите – и за борт.

– Ну что вы! Завтра встанете на ноги. Изменить вы все равно ничего не можете.

В тоне Изыльметьева нет упрека. Но доктору кажется, что он в чем-то виноват. Может быть, теперь, когда на «Авроре» умирают матросы, а Вильчковский не в силах им помочь, где-нибудь в провинциальной лечебнице земский лекарь открыл простое и верное средство против цинги. Вильчковский верил в безграничное могущество человеческого разума.

– Который теперь час в Петербурге?

– Вечер, – сказал после паузы Изыльметьев. – В Петербурге еще восьмое июня.

– Сейчас загорятся газовые фонари, люди торопятся в театры, к теплым очагам... – Доктор помолчал немного и затем заговорил с большой страстью: – Нас не могут ни в чем упрекнуть, Иван Николаевич. Все, решительно все против нас, и всему есть граница...

Вильчковский опять попытался подняться и уже спустил было ноги на пол, но капитан остановил его.

– Хорошо, я буду сидеть смирно. Но и молчать не могу. – Он запустил припухшие пальцы за шейный платок, будто платок душил его. – Невозможно молчать, видя, что люди гибнут из-за тупости, из-за равнодушия казнокрадов и подлецов! Трудно ли было заменить старые деревянные бочки для пресной воды металлическими цистернами? Суший пустяк! Однако ж это не сделано или сделано лишь по отчету. Кто-то сунул в карман деньги, назначенные на цистерну, и, не терзаясь совестью, ходит к обедне. А матросы пьют гнилую воду и умирают, чтобы превратиться в бездушную цифирь и украсить собой новый отчет. Доколе же такой порядок будет считаться естественным?

Изыльметьев молчал. В дверь соседней каюты постучали, и чей-то бас позвал «батю» к умирающему матросу.

– Еще один! – вздохнул доктор. – Миллионы рублей уходят на пустяки, на дребедень. Побрякушкам, мертвому артикулу, пуговицам отдаем все силы, все деньги, подаренные нам трудом крепостного, а до существенности никому нет дела. Знаете ли вы, Иван Николаевич, что в сорок девятом году, всего пять лет тому назад, около ста тысяч человек умерло в России от цинги?! Сто тысяч мертвецов, обвиняющих нас, просвещенных людей отчизны, в преступном равнодушии, в бездеятельности! А что мы можем? Ничего. Мы слуги слуг, лакеи на запятках у департаментских лицемеров, у российских тартюфов...

– Мы слуги отечества, доктор. А отечество – народ, прежде всего народ.

Доктор посмотрел на Изыльметьева долгим, изучающим взглядом.

– Народу мало того, что мы сознали эту истину. Мы обязаны помочь ему, помочь... – Он застонал громко, словно находился в каюте один, и, понизив голос, сказал: – Вы меня знаете коротко, Иван Николаевич. Я не бунтовщик, никогда не был замечен. Но говорю вам – республики жажду, всей силой души своей жажду!

Изыльметьев ответил не сразу. Помолчав, он сказал доверительно:

– Напрасно вы думаете, что не замечены. Напрасно. Еще в Англии, когда «Аврора» находилась в Портсмуте, мне стало известно о вашем визите к господину Герцену...

Доктор опешил было, потом выпрямился в кресле и, не сводя напряженного взгляда с Изыльметьева, проговорил:

– Пустое! Об этом и думать-то нечего. Меня попросили свезти Герцену пакет, я и свез, не более того...

Что-то пробежало между капитаном и Вильчковским, какая-то неясная тень, а с нею и знобкий холодок отчуждения. Изыльметьева неприятно кольнула скрытность доктора.

– Не знаю, не знаю, – хмуро заметил капитан, – да и знать не хочу. Довольно и того, что я так долго молчал об этом. – Капитан прислушался, не слышно ли чьих-либо шагов, и, погрозив доктору пальцем, продолжал более мягко: – За вами следила английская полиция, а помощник нашего консула донес мне.

– Уверяю вас... – начал было доктор, но капитан прервал его с той непреклонной решительностью, которой на «Авроре» никто не умел противиться.

– Оставим это. – Изыльметьев поднял согнутую в локте руку. – Я предупредил вас из чувства искренней привязанности.

Вильчковский благодарно стиснул руку капитана. Она пылала. Доктор особенно ясно ощутил жар своими мертвенно-холодными пальцами и с горечью подумал, что через день-другой болезнь свалит и этого сильного человека.

– У нас есть свой долг, – продолжал Изыльметьев убежденно, – свои обязанности перед родиной. Долг тяжелый, доктор, но и непременный. Жизнь помогает нам, она сама начертала круг наших обязанностей. «Аврора», ее судьба – вот наша забота, наше отечество сегодня. Я благодарен судьбе за эту ясность, ее лишены очень многие. Но все ли мы сделали для экипажа?..

Вильчковскому почудился скрытый намек в словах капитана, и он с отвращением подумал о своем бессилии.

– Мы сделали немало, – ответил Вильчковский глухо. – Запасли лимонов, свежего мяса, огородной зелени, медикаментов. Хлор, уксус, жженный кофе, даже перуанский бальзам, закупленный по вашему совету... У нижних чинов по двенадцать пар белья, шерстяные чулки, нагрудники, теплые рубашки. Если бы не эта проклятая сырость! Чем лучше и добротнее ткань, тем больше в ней влаги, тем омерзительнее она. Неужели нельзя создать на фрегате ни одного сухого уголка?! – с отчаянием в голосе воскликнул доктор.

– Нет! – Изыльметьев поднялся. – Об этом и думать нечего. Даже в камбузе сыро. – Он задумался, поглаживая по привычке усы. – Да-с, пришло время принимать радикальное решение. Скоро начнется военный совет, доктор. Я думаю идти в Петропавловск-на-Камчатке вместо назначенного нам Де-Кастри. Как вы полагаете?

Вильчковский мало знает об этом океане, словно в насмешку названном Тихим. Вспомнившая обрывки слышанного, прочитанного, он приходил к заключению, что Камчатка едва ли не самая суровая земля из всех, принадлежащих России. Но и о Де-Кастри он не имел представления... В конце концов Адмиралтейство, направляя «Аврору» в Де-Кастри, а не в Петропавловск-на-Камчатке, вероятно, руководствовалось деловыми соображениями. К тому же доктор по выходе из Кальяо энергично поддерживал рискованный курс, избранный Изыльметьевым, азартно спорил со скептиками и теперь в глубине души сожалел об этом.

– Не знаю, Иван Николаевич, – ответил доктор, подумав. – Хоть убейте, голубчик, не знаю. Неведомы мне эти дьявольские места. Ноги моей больше здесь не будет.

Это было сказано с такой обидой и детским простодушием, что Изыльметьев, несмотря на серьезность положения, рассмеялся.

II

Почти все офицеры, собравшиеся на совет, смотрели на предложение капитана так же, как и доктор, и охотно сказали бы «не знаю», если бы обстоятельства службы не понуждали их высказаться более определенно. О Де-Кастри они знали мало. На всем фрегате не было моряка, хоть раз побывавшего там. Зато о Петропавловске они располагали куда более точными и благоприятными сведениями, чем доктор. Многие были не прочь взглянуть на Авачинский залив – хваленую естественную гавань, в которой, по уверениям моряков, могли поместиться все флоты мира, военные и торговые.

Изыльметьев коротко сообщил о цели совета:

– Противные ветры мешают нам достичь залива Де-Кастри. Никто не может сказать, сколько они продлятся. Мы не знаем и того, что ждет нас в устье Амура, в новых, только что основанных поселениях. Найдем ли мы там сухие помещения, аптеку, медикаменты и необходимые запасы провианта? Экипаж «Авроры» истощен, силы убывают ежечасно. Ввиду исключительных обстоятельств я намерен идти вместо Де-Кастри в Петропавловск, которого мы сумеем благополучно достичь в течение двенадцати-пятнадцати дней. Прошу господ офицеров изложить свое мнение.

Капитан чувствовал себя теперь гораздо хуже, чем час назад в каюте Вильчковского. Веки его налились металлом, и только физическим усилием ему удавалось держать их поднятыми. Офицеры смотрели на него и не понимали, отчего глаза капитана раскрылись так широко и приобрели странное, удивленное выражение. Голос его звучал глухо, кольца вокруг глаз потемнели и придавали лицу зловещий и изможденный вид. Капитан говорил отрывисто, сухо, чтобы не выдать своего состояния.

Первым поднялся капитан-лейтенант Тироль.

– «Аврора», – начал он холодно, уставясь в какую-то точку прямо перед собой, – приписана к эскадре вице-адмирала Путятина. Изменив назначенный нам пункт, мы не только нарушаем приказ, но и отрываемся от эскадры, ослабляя ее и в то же время делая наш фрегат беззащитным перед лицом во много раз превосходящего противника. Вправе ли мы так поступить?

Тироль выразался с обычной для него осмотрительностью, но мысль его работала лихорадочно. Кто знает, как повернутся события! Самовольное изменение курса – дело опасное. При неблагоприятных обстоятельствах командир и его помощник несут строгое наказание за самовольное изменение назначенного курса. Их могут исключить из службы или разжаловать в матросы с правом выслуги.

Нет, он не сделает опрометчивого шага. Пусть решает капитан.

– Мы не знаем, где находятся корабли вице-адмирала Путятина, – сказал капитан. – Достигли ли берегов Японии «Паллада» и «Диана»? Не знаем. Не знаем и того, удалось ли им соединиться и составить некое подобие эскадры, не на бумаге, разумеется. Я сомневаюсь в этом. Поэтому полагаю, что, изменив пункт назначения, мы не ослабим несуществующей эскадры. Кто поручится, что в Де-Кастри мы найдем эскадру вице-адмирала?

– Я думаю, – уклончиво ответил Тироль, – Адмиралтейств-совет предусмотрел это.

– Возможно ли предвидеть такое? – сухо бросил Изъльметьев. «Паллада» уже более двух лет в море. Она шла мимо мыса Доброй Надежды, «Аврора» – вдоль американского материка. Бури, штормы, сотни непредвиденных обстоятельств. Тысячи миль разделяют нас. Мог ли все это предусмотреть Адмиралтейств-совет?

Тироль молчал. Он мог бы, конечно, сказать, что предназначениям начальства полагается следовать неукоснительно, не испытывая его терпения и не искушая судьбу, что моряку иногда следует отказаться от доводов логики, доверившись провидению, ибо самые неопровержимые доказательства бессильны перед внезапно открывшейся течью. Но Тироль уже сказал все, что хотел.

Изъльметьев окинул взглядом собравшихся. Их было меньше обычного. Два офицера лежали в лазарете. Отсутствовал вахтенный офицер Дмитрий Максutow. Все сидели сумрачные, хмурые, избегая взглядов капитана. «Аврору» раскачивало. В кают-компании то и дело темнело: огромные серо-зеленые валы закрывали стекла иллюминаторов. Изредка блеснет по стене струйка воды или ударится о пол крупная капля.

– Анкудинов! – обратился Изъльметьев к молодому офицеру, сидевшему ближе других. Анкудинов неторопливо поднялся.

– Ваше предложение, господин капитан-лейтенант, – сказал он, представляется мне единственно правильным. Нужно спасти людей – это главное, о чем мы можем и должны сегодня думать. Ветер позволяет идти в Петропавловск, нам надо изменить курс и использовать всю парусность «Авроры». Другого выхода я не вижу.

Он сел и, встретившись взглядом с Тиролем, прищурил глаза, но не отвернулся.

– Лейтенант Максutow! – прозвучал в наступившей тишине голос Изъльметьева.

Поднимаясь со стула, Максutow подался вперед и оказался на том месте, куда методически падали с потолка тяжелые капли. Не успел он и слова сказать, как капля, ударившись о твердый эполет, обдала шею и ухо водяной пылью. «Как глупо!» – промелькнуло в голове лейтенанта.

– Я думаю, – начал он чужим, высоким голосом, – что бедствие, которое мы терпим ныне и которое принуждает нас прибегать к крайним мерам, является следствием другой нашей ошибки...

Р-р-раз! Капля разбилась так звучно, что на это, кажется, все должны были бы обратить внимание. Максutow незаметно уклонился в сторону. Поза получилась неудобной, неестественной, и это злило его.

– Мы пренебрегли указаниями опыта, выводами мореходной науки, побуждаемые к тому боязнь встречи с английскими и французскими судами... Я не склонен считать эту опасность мнимой, однако ж она, как показала наша встреча с «Тринкомали», – Максutow звучно произнес название английского корвета, но в ту же секунду капля ударила его по лбу, в то место, откуда начинался безукоризненный пробор, – как показала эта встреча, опасность не столь велика, чтобы подвергать из-за этого экипаж таким испытаниям...

– Нельзя ли без воспоминаний, лейтенант! – попросил Изыльметьев.

– Можно...

Еще одна капля упала на лоб. Максutow почувствовал, как тонкая струйка потекла и остановилась, перед тем как залить бровь. «Кажется, у китайцев есть такая пытка, – мелькнула у него мысль, – капли, методически падающие на бритую голову преступника». Максutowу не хватало простоты и непринужденности, чтобы отступить в сторону; подобные натуры больше всего страшатся показаться смешными и неловкими.

– Теперь мы готовы совершить новую ошибку, последствия которой трудно предусмотреть. Если войне суждено быть, хотя я и мало надеюсь на то, что война затронет далекий тихоокеанский театр... – Еще удар, и струйка проложила себе путь вдоль брови к виску. – Если войне суждено быть, «Аврора» не может отсиживаться в Петропавловске. Фрегату назначено рандеву в Де-Кастри, и наш долг заключается в прямом исполнении приказа. Сегодня ветер благоприятствует движению к Петропавловску, а кто знает, что будет через несколько дней, когда мы уже продвинемся далеко на север?!

Вода текла по щеке Максutowа и ползла уже за ворот, но лейтенант не шевелился. Тироль с удовольствием думал о том, как убедительно и ясно излагает его собственные мысли этот умный, образованный офицер.

– Отступите в сторону, лейтенант, – сказал наконец Изыльметьев. – Вас заливают.

– Благодарю, – ответил Максutow и механически, как на смотру, шагнул вперед, к Изыльметьеву. – Я заканчиваю. В устье Амура отважные русские офицеры вершат великое дело. Там трудно, не спорю. Но каковы бы ни были жертвы, я полагаю, что в Де-Кастри мы будем ближе к цели, чем в Петропавловске. «Аврора» – военный корабль, обязанный защищать честь нашего флага, неприкосновенность...

Лейтенанту не дали договорить. Открылась дверь, и в кают-компанию вошел Иона с раскрасневшимся лицом и всклокоченными волосами. За плотной фигурой священника стояло двое матросов.

Иона склонил косматую голову.

– Покорнейше прошу прощения, – сказал он, погрохатывая на частых «о». – Долг пастыря велит мне нарушить ваше собрание. Иван Николаевич, матрос Климов умирает! Простите, что отважился побеспокоить... Проговорив это, он тяжело опустился на стоящий рядом стул.

Тироль оставался с виду равнодушным, но все в нем кипело. Будь он командиром фрегата, этот неопрятный, пропахший вином и табаком «батя» не посмел бы сунуться на военное совещание. «Неужто Изыльметьев отправится в лазарет?» – подумал Тироль, скользнув напряженным взглядом по бледному лицу капитана.

Марсовый Климов был любимцем не только экипажа, но и капитана «Авроры». После Портсмута, в Рио-де-Жанейро и Кальяо Изыльметьев охотно отпускал его на берег, словно подчеркивая свое доверие к матросу, которого кое-кто в душе все еще считал дезертиром. Цыганок возвращался на фрегат веселый, взбудораженный пребыванием на берегу и даже не замечал, как зеленеет от злости первый помощник, втайне уповавший на то, что кто-нибудь из «портсмутских дезертиров» сбежит наконец в одном из портов.

Изыльметьев недолго раздумывал. Поручив Тиролу вести совет, он вышел из кают-компании. У дверей вытянулись в струнку поджидавшие его матросы Семен Удалой и Афанасий Харламов.

III

Лазарет помещался вблизи носовой части, за фок-мачтой, Изыльметьеву нужно было пройти почти по всей верхней палубе. На шканцах порыв ветра едва не опрокинул его. Ноги отяжелели, стали чужими, чугунными, а коленные суставы горели так, словно они были перехвачены железными обручами, которые стискивались все туже и туже. Жар, сушивший горло и окружавший капитана зыбкими волнами горячего воздуха, сменился ознобом. Кожа лица стянулась, а нижняя челюсть запрыгала смешно и жалко. Изыльметьеву вдруг показалось, что повалил крупный серый снег. Снежинки завихрились в разных направлениях, закрыв грот-мачту и всю палубу. Изыльметьев покачнулся. Правая рука сама собой протянулась к спасительному лееру. «Только бы не упасть, – отдалось в мозгу Изыльметьева, – не свалиться бы здесь. Тогда конец...»

Он заставил себя остановиться и отдернуть руку. Капитан почувствовал, что и матросы остановились, выжидая. Зажмурил глаза. Опустив руку в карман, медленно вытащил трубку. Приоткрыл глаза. Пляшущая муть поредела. Он хорошо различал грот-мачту, тонкие струны талей и грот-штагов. Матросы за спиной капитана переглянулись.

А Изыльметьев уже шел вперед торопливым шагом. Озноб бил его с прежним ожесточением, но на какое-то время наступила ясность – ясность сознания, слуха и зрения. Он только и желал того, чтобы сохранилась эта ясность, не отступила перед натиском предательски обволакивающих и притупляющих сознание приступов.

Грот-мачта осталась позади. На шкафуте немного тише. Тут лежат запасные стеньги, реи, надежно увязанные и покрытые матами. На рострах укреплены баркас и шлюпки, образуя укрытие от ветра. Капитан быстро преодолел несколько сажень, отделявших его от люка, и спустился по трапу. Здесь было самое теплое место на фрегате: рядом находился камбуз – большая чугунная печь с котлами для варки пищи и со специальной плитой для приготовления кушанья офицерам.

В смрадной духоте лежали десять матросов. Здесь смешались все запахи – человеческого пота, хлора, табака, в котором нельзя было отказать умирающим, острый запах черной горчицы, аромат перуанского бальзама, фрегатского камбуза и гнилостный запах старого, вымокшего в ста водах дерева.

У койки Климова стояли матросы и мичман Пастухов. Головы больных, кто был еще в состоянии двигаться, повернулись к умирающему.

Изыльметьев невольно вспомнил тот день, когда «Аврора» впервые пересекла экватор. Цыганок был душой импровизированного зрелища, устроенного на фрегате. Он, выкрашенный под бронзу, с крыльями за спиной, с луком и стрелами в руках, изображал купидона, неотлучно следовавшего за Нептуном и матушкой Амфитридой, одетой в платье из красного флагдука. С каким озорством и юмором произносил он: «Ваше блистательство!», обращаясь к Нептуну, которого изображал Удалой!

Теперь марсовый Климов умирал.

Приближалась агония. Матрос разметался на койке, сбросив одеяло, обнажив смуглое худое тело, едва прикрытое сползающим бельем. Ноги, заголенные до колен, были покрыты фиолетовыми пятнами, глубокими кожными язвами. Ноги и туловище словно принадлежали разным людям: толстые, опухшие голени, ступни и худая, ребристая грудь. Лицо Цыганка высохло, состарилось; рот провалился, смуглая кожа сморщилась. Глаза, хотя и измученные болезнью, сохранили интерес к жизни, какую-то особую пристальность, присущую Цыганку.

Капитан положил широкую ладонь на лоб матроса. Лоб горел, под пальцами Изыльметьева пульсировала горячая кровь и покорно лежали жесткие пряди. Никто не шелохнулся, не подал капитану стул, только за спиной Изыльметьева кто-то громко вздохнул.

– Спросить хочу... Все боязно было... А теперь могу – не осерчаете...

– Спрашивай, ничего не бойся, – ласково сказал Изыльметьев.

Матросы подались к койке Цыганка. Пастухов подвинул стул Изыльметьеву; это было очень кстати, так как от духоты на него опять наплывала пьянящая муть.

Цыганок медленно повернул голову и с трудом заговорил:

– Давно говорят... мужику воля назначена... Объявить должны царскую волю... про землю. С тем на службу шел, с тем и... – Миша сделал большую паузу, набираясь сил и решимости произнести это слово, – с тем и помираю... Будет воля, вашскородь?

Изыльметьев с волнением слушал затрудненную речь Цыганка. Звуки слагались в слова, слова – в обжигающие фразы. Сколько людей в эту минуту там, на родине, задают себе тот же мучительный вопрос!

Сколько раз задавал себе этот вопрос и сам Изыльметьев! Но и он, веровавший в торжество справедливости, просвещенный человек, – разве он мог ответить на этот вопрос, не солгав.

– Я думаю, не станут люди напрасно говорить, – уклончиво ответил Изыльметьев.

Цыганок отвернулся.

– В море глубины, а в людях правды не изведает...

– Ты еще поживешь, дружок, время покажет.

Изыльметьев почувствовал, что говорит не то, что слова Цыганка о людях, в которых «не изведать правды», относятся и к нему.

В лазарет заглянул вахтенный офицер Дмитрий Максотов и замер – он не думал увидеть здесь капитана.

Пастухов заботливо укрывал одеялом тело Цыганка. Будто кончился прием, доктор не сумел сказать ничего утешительного, и близкие, укрывая умирающее тело от его равнодушных глаз, хотят, чтобы он поскорей ушел.

– Будущее лучиной не осветишь, вашскородь... – прошептал Цыганок с такой смертной тоской, с такой безнадежностью, что у Изыльметьева кровь прилила к голове. – Все в руках господ... А господа – что голубые кони: редко удаются...

Вот когда Изыльметьев понял свою ошибку. Ведь Климов действительно умирал, не теша себя пустыми надеждами и не впадая в отчаяние. Он умирал мужественно, тихо и обыкновенно, не рисовался, не ублажал смерть притворной покорностью, не думал о посулах отца Ионы. Он уходил из жизни, храня в своем сердце заботу об остающихся. Ведь не о рае, не о страшном суде спрашивал у него Цыганок. Он жаждал воли, хотя сам уже не нуждался в ней, мечтал о земле для других. Открытая и чистая душа!

– Будет воля! – промолвил Изыльметьев громко. – Скоро будет!

Снова тишина. Люди сдерживают дыхание. Если бы не глухое ворчание волн, ударяющих в борты, Изыльметьев, может быть, услышал бы, как бьются сердца матросов.

Цыганок пошевелил губами:

– Спасибо. – Слово угадывается лишь по движению его губ, звуков почти не слышно.

– Теперь уже скоро, – убежденно повторил Изыльметьев. – Война задержала, но ждать осталось недолго.

Изыльметьев тяжело поднялся. Он заметил, что слезы бегут по широкому, на удивление спокойному лицу Удалого. Отчего плачут матросы? Им жаль Цыганка? Но минуту назад они не плакали. Может быть, к их горю примешалась и радость? Радость за родню, за односельчан, оставшихся в России? Радость, самая бескорыстная и чистая в мире, ибо немногие из находящихся в этой каюте надеются дожить до воли. И горе и радость их человечны, а мысли тоже отданы человеку и его счастьем. Пусть это безотчетное чувство, а не строгий вывод ума, тем дороже оно, от сердца идущее.

– Эх, Цыганок, Цыганок! – раздался слабый голос с соседней койки.

– Прощай, Миша! – проговорил капитан, склоняясь к Климову.

Он поцеловал холодеющий лоб матроса и, круто повернувшись, вышел из каюты.

Кают-компания встретила Изыльметьева молчанием. По лицам офицеров он заключил, что дело нисколько не двинулось вперед. Оттого что с Изыльметьевым пришел растерянный Пастухов, все поняли, что с Цыганком все кончено.

В памяти Изыльметьева возникло начало совета – такое далекое теперь, после посещения больничной каюты, – осторожность Тироля, заносчивость МаксUTOва, спокойная уверенность Евграфа Анкудинова. Вице-адмирал Путятин, Амур, Де-Кастри, приказы Адмиралтейства, обязательное рандеву...

Изыльметьев тяжело оперся на стол, рукава мундира поднялись, обнажив запястья.

– Господа, я принял окончательное решение, – произнес он спокойно. «Аврора» возьмет курс на Камчатку. В десять, много пятнадцать дней мы достигнем Петропавловска, даже если часть пути придется идти в полветра. Нужно спасти экипаж и сохранить «Аврору» в числе действующих боевых единиц Российского флота. Я рассчитываю на самоотверженную службу всех, кто способен еще стоять на ногах.

Александр МаксUTOв взглянул на руки капитана, вцепившиеся в синее сукно, которым покрыт стол. На руках, повыше кисти, видны темные точки и полосы, уходящие под мундир.

«Цинга! – промелькнуло в голове МаксUTOва. – И тут цинга! Долго он не продержится...»

И впервые что-то схожее с сочувствием к этому большому, чужому для него человеку шевельнулось в сердце лейтенанта.

IV

Из Петропавловска-на-Камчатке.

От Марии Николаевны Лыткиной.

В Иркутск, в канцелярию генерал-губернатора,
в собственные руки есаула Мартынова.

Любезный друг!

Я не тешу себя надеждой, что последнее мое письмо уже попало в Ваши руки. Прошел только месяц с тех пор, как транспорт увез почту в Россию, но когда еще он попадет туда, один Господь знает. Нас разделяют горы, тайга, столь приятная Вашему сердцу, пенистые реки, доставившие нам много затруднений осенью прошлого года, по пути из Иркутска в Аян. Только небо над нами одно, – в ясный, солнечный день оно такое же синее, как и над милым Иркутском.

Стоит запрокинуть голову, прижмурить глаза, смотреть сквозь ресницы на теплое небо – и ты снова дома, на берегу Ангары, в кругу друзей...

Видите, как мало можно верить моим клятвам и обещаниям! В прошлом письме я зареклась вспоминать Иркутск... И что же? Проходит месяц, и я прилежно берусь за прежнее.

Последнее письмо я адресовала в канцелярию генерал-губернатора, в собственные Ваши руки. Верно ли я поступила? Положительно не знаю и не скоро услышу от Вас ответное слово. Да и не знаю, когда еще сумею отправить и это письмо. В Петропавловске теперь стоят португальский китобой и американский бриг. Говорят, они пойдут на юг, в страну сандалового дерева. Транспорт «Камчатка» привез муку, но когда он отправится и отправится ли в Аян или Ситху или в какие другие пункты Русской Америки¹⁴ – неизвестно.

Почты у нас так редки, что трудно и с мыслями собраться, вспоминая прошедшие недели. Буду писать, не дожидаясь почт, – пусть хранятся у меня исписанные листки до подходящего случая. Перед отправкой перечту их, над многим сама посмеюсь, а иное событие, запечатлен-

¹⁴ Так назывались в ту пору Аляска и часть Тихоокеанского побережья Северной Америки, принадлежавшие России.

ное на бумаге, шевельнет в душе добрые чувства или раздосадует: жизнь идет, люди трудятся, пребывая в нужде и заботах, а я по-прежнему праздна и отделена от людей! Я не забыла Ваш девиз: «Без действования нет жизни! «Святые слова! Но что поделать, если не найду ни силы, ни условий жить иначе!

Недавно у нас случилось событие, которое и Вашу черствую душу не оставит равнодушной. В ночь на девятнадцатое июня загрохотал гром, и резкие молнии осветили окрестности. Только при вспышке молнии постигла я до конца образ камчатского герба: три заостренных действующих вулкана среди серебряного поля. Небо и при вспышках оставалось темным, зловещим, но вулканы рисовались так же резко, как на изображении. Мне показалось, что грохот исходит от огнедышащих сопок. Но то была натуральная молния, и камчадал, которого отец обучает аптекарской премудрости, объяснил нам, что это духи, по-местному – гамулы, натопив свои жилища, выбрасывают, по туземному обычаю, пылающие головни.

Молнии продолжались всю ночь, а на рассвете в Авачинскую губу вошел фрегат «Аврора» в самом несчастном и бедственном состоянии.

Хотела бы я видеть Вас здесь, в порту, среди безмолвной толпы, провожавшей глазами нескончаемую вереницу носилок, протянувшуюся от фрегата к госпиталю и казармам. Ваше сердце сжалось бы от сострадания, но и наполнилось бы гордостью за людей, которые сумели вынести все это и не пасть духом.

Я не страшусь оскорбить Ваши чувства описаниями ужасов, ибо Вы же мне не раз внушали, что нет предмета более прекрасного, чем натура, какова бы она ни была. Физические страдания, боль, тяжкие недуги – от этого я не бегу, не пугаюсь их вида, приученная многолетними занятиями своего родителя. А все же, Алеша, слов не хватает, чтобы рассказать об ужасающем зрелище.

В несколько часов наш спокойный дом превратился в бедлам. Перегонный куб, сушильный шкаф, печи, тигли, пресс – все нехитрое наше хозяйство, долго стоявшее без дела, пришло в движение, зашипело, закрипело, заработало. Были извлечены многолетние запасы; все, что издавна береглось, все, от лучших петербургских лекарств до черногрива и пьянишника, напоминающего обыкновенный вереск. Во всей этой кутерьме была и своя смешная подробность. Фрегатский лекарь преподнес моему родителю банку перуанского бальзама. То-то была радость! Отец среди забот вспоминал о бальзаме, весело потирал руки и твердил на разные лады: «*Balsamum peruvianum! Peruvianum balsamum!*»¹⁵

Губернатор назначил комиссию, принимавшую больных с «Авроры», известный Вам по Иркутску скопидом Ленчевский, штаб-лекарь коллежский асессор Щуцкий, фрегатский доктор господин Вильчковский и прочие. А между тем смерть, унесшая в море немало жизней, не устала и наших приготовлений, не уступила своих жертв камчатским эскулапам. Ежедневно Петропавловск провожал мертвые тела на кладбище у Красного Яра.

Мы с Настенькой (моя новая подруга, я о ней еще напишу) попросились в госпиталь в помощники, но были подняты на смех. Ленчевский прочитал предлинную нотацию о «безнравственности и противуестественности» наших намерений. «Противуестественность!» Как смеет этот старикашка, натянутый и фальшивый, толковать о естественности?! Что может быть естественнее нашего желания облегчить страдания людям! Говорят, там и без нас достаточно рук. Но женские руки сделают все лучше, нежнее, заботливее самых заботливых мужских рук. Разве у нас нет сердца, приказывающего рукам, сердца, наполняющегося горем наравне с мужским, сострадательного и готового на самопожертвование! До какой поры будут услаждать нас романами Жорж Санд, обольщать надеждами, толками об эмансипации и наступать на подол всякий раз, когда сердце подсказывает какой-либо простой, но решительный шаг? Вот истинная безнравственность и противуестественность нашего века! Низко склоняю голову перед

¹⁵ «Бальзам перуанский! Перуанский бальзам!»

женщинами, ушедшими четверть века назад в Сибирь... Вы знаете, о ком я говорю. Они рядом с Вами. Неужели их подвиг свершен напрасно?!

Постепенно все входит в свою колею. У Красного Яра выросло много зеленых холмиков, а живые думают о живых, жизнь берет свое, и это хорошо, – память человеческая коротка, а раны душевные хоть и не так быстро залечиваются, как телесные, но все же быстрее, чем можно было бы предположить.

В городе появилось много молодых офицеров. Они образованны, умеют порассказать о Петербурге и заморских странах.

Наши присяжные игроки, кажется, нашли среди них не много достойных партнеров. Библиотека, привезенная на фрегате, хоть и невелика, а все же оживила круг местных любителей чтения. Набросились на свежие (для нас!) книжки «Москвитянина», «Библиотеки для чтения» и «Отечественных записок». Что за чудо Островский! Дважды перечитала «Не в свои сани не садись», а над «Бедной невестой» досыта облилась слезами.

Собираемся, как и прежде, в доме Завойко, под сенью парка, посаженного, быть может, еще Витусом Берингом. В числе приезжих офицеров совершенно нет женатых (исключая командира и его первого помощника), а это обстоятельство вносит большое оживление в наши вечера. Милые бедные невесты всполошились и, кажется, напрасно. Кто знает, сколько времени пробудет здесь «Аврора», не заставят ли ее обстоятельства незамедлительно уйти в море. Сколько-то будет горестей, сердечной тоски и несбывшихся надежд! Только Ваша Машенька, верная и неизменная, хранит ледяное спокойствие, не причиняя, впрочем, этим никому ни боли, ни огорчения.

Офицеры усердно разучивают прелестную «восьмерку» – камчатский танец на манер кадрили, но и они привезли новость: польку-тремблант, отличающуюся особым изяществом и замысловатостью фигур. Некоторые из офицеров стараются научить наших отсталых этому танцу, что отчасти и увенчивается успехом.

Решили разыграть любительский спектакль, но пока ни к чему не пришли. Лейтенант Александр Максutow предложил французскую мелодраму – затея в камчатских условиях невыполнимая. Эту мысль отвергли, а Максutow обиделся.

Я предложила «Бедную невесту» – Настенька могла бы хорошо приготовить главную роль, – но эту пьесу знают столь немногие, что и она была отвергнута без обсуждения. Большинство склоняется к «Ревизору».

Военные приготовления идут своим чередом и составляют главный интерес нынешнего времени. Я предчувствую, что Вы улыбнетесь при этих словах, но кто знает, что суждено нашему дальнему порту, о котором в недостижимых столицах, кажется, ни у кого и мысль не шевельнется! Местные жители шьют палатки на тот случай, если придется покинуть дома и жить на близлежащем хуторе или в поселке Авача. Камчадалы не ждут добра от англичан; многие из них работают над сооружением батарей, а в остающиеся часы помогают семьям запасать рыбу. Теперь для этой цели самая горячая пора, и от успешности летнего лова зависит благополучие и сама жизнь несчастных камчадальских семейств.

Женщины тоже приспособлены к возведению батарей: они отправляются за десять верст от порта, режут хворост и плетут из него высокие корзины, такие, как на лубочной картинке, изображающей осаду Туртукая, что висит в Вашем доме. Другие набивают землей мешки.

Моя праздность тяготит меня пуще прежнего. Два человека во всем Петропавловске понимают меня в этом – Настенька и Зарудный, хороший человек, в беседе с которым нахожу большой интерес. Пишите мне, друг мой, не оставляйте меня своим вниманием, не то другой, заботливый, вытеснит Вас из моей непрочной памяти. Страшитесь этого! Здесь, на краю света, и перемениться недолго, – здесь даже ласточки другие, особенные, с красной, а не белой шейкой.

Настенька влюбилась в мичмана Пастухова. Он совсем еще молод, однако сквозь нежную форму глядит твердый алмаз мужественного характера.

В следующий раз я расскажу Вам о них, особенно о Настеньке, в которой души не чаю. Я еще не прощаюсь с Вами, – письму этому быть еще не раз продолжену, пока оно уплывет из Камчатки.

И все же навсегда Ваш верный друг

Маша.

Тревога

I

Утром 27 июня на гауптвахте ударили тревогу. Металлический звук разорвал тишину и покатился по склонам гор, поднимая к небу стаи чаек и топорков, дремавших в зарослях Култушного озера. Он разбудил город и родил массу звуков, не привычных для тихого Петропавловска.

У казарм заиграл горнист. С возвышения, на котором стояла церковь, тревожно потекли звуки колокола. Хлопали двери, скрипели калитки, слышался топот ног по каменистым тропам, раздавались встревоженные голоса. Эхо многократно повторяло этот шум, унося его далеко, к вершинам синееющих в утренней дымке вулканов.

По узким тропинкам спешили люди. Мелькали ситцевые платья, ветхие армяки, светлые рубахи из местного небеленого холста. На многих оленьи одежды, выделанные, по камчадалскому обычаю, под замшу и окрашенные ольховой корой. Старики камчадалы и поселенцы обуты в высокие меховые сапоги – торбаса – на толстой подошве из нерпичьей кожи. Мелькали пестрые шелковые платки, повязанные над самыми бровями.

Нижние чины сорок седьмого флотского экипажа шли от казарм строем, с развернутым знаменем. За ними следовали матросы с «Авроры». Их немного, так как значительная часть экипажа по болезни освобождена от несения службы. Служащие нестроевой роты – писаря с ленивыми, сонными лицами, мастеровые, цирюльники, фельдшеры, – вся эта разношерстная, не по форме одетая масса уже толкалась в порту, разглядывая подходивших аврорцев. Группами являлись чиновники казначейства, канцелярии Завойко, портового управления. Судебные чиновники, кондукторы и штурманские офицеры, подшкиперы и унтер-офицеры, баталеры и вахтеры растворились в потоке обывателей.

На плацу собралось более восьмисот человек. Люди стояли плотной массой, окружив невысокий бугор, разглядывая стол, принесенный из портового управления, несколько стульев и флаг, трепетавший на высоком флагштоке.

Пастухов, повернувшись спиной к причалам, обводил блуждающим взглядом селение и лесистые горы. Слева, над Сигнальной горой, с криком носились чайки. Они поднимались от воды к постройкам, к людям и, словно испугавшись чего-то, стремглав уносились в бухту, через седловину между Сигнальной и Никольской горой. «Николка» – так запросто называли здесь Никольскую гору – переливала всеми оттенками зеленого, от темного бархатистого до серебристо-голубых тонов полыни. Гору охватывал широкий пояс камчатской березы, – издали он представлялся узором из белого атласа и изумрудных шелков. Пастухов с детства любил березовый лес больше всякого другого. Любил его сыроватую свежесть, грибной запах, мягкие шорохи, возникающие от малейшего дуновения ветра. Он особенно обрадовался нежной камчатской березе после обильной, подавляющей тропической растительности и свинцово-серого однообразия океана. Пастухов почему-то не ждал найти здесь березу, а увидев причудливо изогнутые стволы, готов был гладить их узорчатую теплую поверхность.

Выше берез шел густой ольшаник с темными пятнами рябинового подлеска; еще выше – кедровый стланик и папоротники. В чистом небе рисовался гигантский конус Авачинского вулкана и ребристая вершина Корякской сопки, с пластами нетающих снегов во впадинах.

Когда площадь заполнилась людьми, Пастухов стал искать Настеньку, но ее нигде не было видно. Настенька затерялась в толпе или осталась наверху, в доме Завойко. Взгляд Пастухова скользнул по шеренге матросов, по скучным физиономиям чиновников, по кучке американцев

с торгового брига. Маша Лыткина заметила огорченный, ищущий взгляд Пастухова и улыбнулась мичману.

Пробежал, придерживая рукой саблю, полицмейстер Губарев. Расчищая дорогу начальству, он расталкивал на ходу зазевавшихся камчадалов и сердито покрикивал на сновавших по плацу баб.

Через плац быстро шел Завойко в сопровождении капитан-лейтенанта Тироля, правителя канцелярии и петропавловского священника Логинова, облаченного в блестящие ризы. Против обыкновения, Завойко не отвечал на приветствия чиновников и шел, глядя перед собой, сосредоточенный и хмурый. Худощавое тело его тесно облегал парадный мундир; левой рукой он придерживал саблю, которую надевал в исключительных случаях. Завойко легко взошел на бугор и остановился у флагштока.

Семен Удалой, крайний правофланговый, окинул фигуру Завойко критическим взглядом. Каким мелким выглядел бы этот человек рядом с Изыльметьевым, словно высеченным из глыбы гранита! Экипаж «Авроры» с нетерпением ждал выздоровления Изыльметьева. Пока капитан в тяжелом состоянии лежал в лазарете, матросы ощутили на себе жесткую руку Тироля. Боцман Жильцов, притихший после Портсмута, оживился и принялся за прежнее, рассчитывая на сложившуюся с годами привычку матросов к покорности. Были заведены строгости, излишние в русском порту. Тироль хотел оградить аврорцев от общения с местным гарнизоном и жителями, полагая, что здесь каждый второй человек каторжник или по крайней мере потомок каторжника. Особенно доставалось Удалому и тем матросам, которые за время плавания не угодили чем-нибудь боцману.

Удалой спросил у стоявшего поодаль в толпе Никиты Кочнева:

– Это кто же такой будет?

– Губернатор, – ответил Никита. – Первый человек на Камчатке.

– Эх, чернильное море, бумажные берега! Мелковат. Не чета нашему...

– А ваш-то? – недоверчиво спросил Никита.

– О-го-го-го!

– Чай, до неба достал?

– Дура! – отрезал матрос.

– Задравши голову, не плюй: себе в глаза угодишь, – обиделся Никита и, видя, что Удалой, смерив его презрительным взглядом, не отвечает, спросил язвительно: – Ваш рядом суется, что ли? – Никита имел в виду Тироля.

– Наш в госпитале лежит. Скорбут¹⁶. – Семен подмигнул Кочневу. Подходящей койки найти не могут.

– Длиннее тебя?

Матрос подумал и ответил с достоинством:

– С меня. В благородном сословии это редкость. Наша кость мужицкая, крупная.

Завойко поднял руку узкой ладонью к толпе. Затих говор, и только стоны беспокойных чаек неслись от безмолвного берега.

– Жители Петропавловска! – тихо начал Завойко. – Жители Камчатки, русские люди и иноплеменные друзья наши! Настал час трудного испытания...

Идя сюда, Завойко волновался. Он сам, может быть, впервые до конца понял неотвратимость того, в чем давно старался убедить своих подчиненных: неизбежность военных действий на Тихом океане. Завойко пристально оглядел людей, стоявших поблизости, – матросов, бородатых камчадалов, которых нелегко отличить от русских поморов, рыбаков, охотников, мастеровых. Они живут честной, суровой жизнью. Они знают много лишений, бед, несчастий и тяжесть голодной жизни, но слово «война» далеко и чуждо им...

¹⁶ Цинга.

– Турецкий флот взорван и потоплен при Синопе, – продолжал Завойко. Армия султана разбита на Дунае. Неприятельские пушки, знамена, военные суда, взятые с боя, говорят о подвигах и храбрости русского войска. А ныне торговый бриг привез известие, что Англия и Франция соединились с врагами христиан. Война может разгореться и в этих местах. – Завойко внимательно вглядывался в сосредоточенные лица бородачей. – Я надеюсь, что все вы не будете оставаться праздными зрителями боя! – Он медленно обводил взором шеренги аврорцев, притихшую толпу, настороженные лица чиновников. Встретившись с горящими глазами Зарудного, сказал с особой силой: – Я пребываю в твердой решимости, как бы ни многочислен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческого возможно... Убежден, что флаг Петропавловского порта, во всяком случае, будет свидетелем подвигов чести и русской доблести!..

Судья, склонив голову и почти не шевеля губами, шепнул соседу, горному чиновнику:

– Витя...

Чиновник молча кивнул головой, хотя физиономия его выражала величайшее внимание.

Андронников был в подпитии. Он упорно цеплялся за плечо Зарудного и сопровождал речь Завойко ворчанием, в котором обрывки латинских и немецких фраз смешивались с русскими словами. Когда Завойко сделал паузу, Андронников произнес: «Finita»¹⁷, – так громко, что губернатор оглянулся.

Василий Степанович предупредил, что в случае приближения неприятеля к порту женщинам и детям следует немедленно удалиться из города в безопасное место. Каждый должен заблаговременно позаботиться о своем семействе.

– Всякий, – сказал он, – кто желает получить от казны ружье и патроны, должен объявить о том в списке.

Капитан-лейтенант Тироль тяготился всей этой сценой. Лениво, поверх голов, смотрел он на спокойную гладь залива и думал о том, как много лишних хлопот создают себе люди.

Все было ему не по душе: далекий порт, куда он попал против собственной воли, примитивные люнеты, возводимые бог знает зачем, необходимость присутствовать на этом странном сборище, где перемешались военные со штатскими, русские с камчадалами.

А военные с любопытством посматривали на столик и приготовленные листы бумаги. Служивые и без того уже занесены в списки. Штатские медлили. Зачем списки? Какая в них нужда? Не лучше ли повести людей к цейхгаузу и раздать ружья? У охотников – а их тут немало – были свои ружья, надежные, пристрелянные, поэтому и охотники стояли в нерешительности.

Над группой американцев, сосавших свои трубки, вился голубоватый дымок. Громко высморкался Магуд. Где-то в толпе раздался звонкий шлепок по голому телу и послышался детский крик.

Зарудный хотел было подойти к писарю, но что-то удержало его. Он бобыль, и не будет особенной доблести в том, что вызовется первым. Лишний раз только прослышет у злопамятных чиновников выскочкой, оригиналом.

Он отвернулся и увидел судью Василькова. Судья смеялся... Смеялись его глаза, хотя лицо оставалось невозмутимым.

Зарудный шагнул к столу, но увидел, что к писарю приближается старик. В рваных торбасах, в потемневших от времени и жира кожаных брюках и холщовой рубахе навывпуск, худой, беловолосый, он шел легким, пружинистым шагом.

У стола старик откашлялся и сказал злым фальцетом:

– Пиши, язви их, нехристей, в душу! Иван Екимов! Аккуратно пиши!

– Ты на ногах-то устоишь, дед? – спросил писарь.

¹⁷ Конец.

Старик блеснул глазами из-под седых бровей.

– Прихворнул я мало-мало, люди добрые. Зиму-то на саране да на березовой коре отсидел... Спасибо их благородиям, – он поклонился чиновникам, – и купцам-радетелям спасибо: в постель уложили, а помереть не дали...

Сочувственный смешок покатился по толпе. Губарев метнулся было к старику, угрожающе размахивая кулаком, но Завойко остановил его резким окриком.

Старик посмотрел на полицмейстера серьезно и сумрачно.

– Отдохну я, ушицы поем, – глядь-ка, и не одного супостата положу.

Он протянул узловатые коричневые руки к толпе:

– Вот руки трясутся, а палить стану – не дрогнут. В глаз намечу – в глаз и возьму. Про меня всякий скажет.

Толпа одобрительно загудела. Старик повернулся к разинувшему рот писарю и, не дожидаясь, когда он впишет его имя, начертал крест в пол-листа писчей бумаги.

Зарудный прошел к столу. За ним ринулся растроганный Андронников. Потянулись чиновники, преимущественно молодые, озабоченные тем, чтобы Завойко обратил на них внимание. Семен Удалой подзадоривающе толкнул в бок Никиту Кочнева, и тот стал пробираться сквозь толпу.

Сердце Харитины защемило от предчувствия беды, какого-то непоправимого несчастья. Пришла на память толпа голодных переселенцев, одичавших от болезней и преследований, безмолвие табора, пораженного холерой, черные трупы на тряских подводах.

Харитина смотрела на бурлящую толпу, но в отдельности людей не замечала. Не ответила она на улыбку Никиты Кочнева. Не заметила, как пристально смотрел на нее матрос первой статьи Семен Удалой.

II

Деревянная церквушка свернулась пестрым калачиком в кольце могучих тополей. Темно-красные стены, накрытые невысоким зеленым куполом, увенчанным лазоревой луковицей, не вмещали всех, кто пришел из порта к службе.

Логинов, мрачный священник с внешностью сектанта-изувера, говорил без подъема. Он уныло внушал пастве мысль о необходимости охранять церковное имущество и «в случае возжения оно от огнестрельных орудий стараться гасить при помощи народа, для чего иметь наготове бочки с налитой водой, лестницы и другие принадлежности». Говорил об этом долго, хотя в петропавловской церкви, богатой множеством углов и бревенчатых выступов, не было ни драгоценных манускриптов, ни дорогой ризницы, ни серебряных сосудов.

Пастухов нетерпеливо дожидался конца службы. Он давно заметил Настеньку, – она стояла рядом с Юлией Егоровной Завойко и детьми губернатора. Их тесно окружали офицеры «Авроры», портовое начальство и чиновники. Когда кончилась служба, Пастухова потоком вынесло из церкви, и он стал в сторонке, поджидая Настю.

Уже опустела церковь. Вот и последние прихожане прошли, жмурясь на яркий солнечный свет, а Настеньки все не было. Проскользнув в распахнутые двери, Пастухов снова окунулся в духоту церкви.

Девушка была здесь.

Она молча стояла лицом к клиросу, на котором поблескивала икона св. Юлии-мученицы, пожертвованная предшественником Завойко, капитаном первого ранга Машиним после смерти его жены Юлии.

Пастухов неслышно приблизился к Насте. Он увидел ее грустное, сосредоточенное лицо.

Девушка не замечала Пастухова. Волосы ее, светлые, золотистые, заплетены в две косы и кольцом уложены вокруг головы. У нее пухлые, словно разделенные на дольки, губы. Глаза

чисты и прозрачны, как вода родника, сквозь которую видна каждая песчинка, каждый стебелек, прижатый ко дну течением.

Мичман почувствовал, что Настеньку нельзя сейчас тревожить, и стал ждать. Прямо перед ним висели образа Петра и Павла в легких серебряных ризах. Образ Петра темный, старинной работы. Наклоняясь, Пастухов не без труда разобрал вырезанную внизу оклада надпись: «Обложением украшен тщанием и по обещанию флота лейтенанта Дмитрия Овцына и всех служителей, спасшихся с пустого острова и достигших камчатского берега в 1742 году августа месяца». Вспомнился рассказ Завойко о Камчатке, об отважных русских людях, презиравших опасности и смерть. Этот образ – остаток второй экспедиции Беринга, безмолвный свидетель великих подвигов и суровой драмы. Все стало вдруг более весомым, значительным. От настоящего, полного неизвестности и предчувствий, потянулись живые нити в прошлое. Сумрак церкви, причудливый рисунок бревенчатых выступов, бедный иконостас и старопечатное евангелие, глядевшее на него крупной кириллицей, орнаментальными заставками и серебряными гранями наугольников, – все показалось Пастухову полным таинственного смысла и значения.

Настя неожиданно вздрогнула и оглянулась.

– Константин Георгиевич!

Выражение скорби стало исчезать с ее лица. Расправились складки на лбу, приветливо сморщился нос, и девушка улыбнулась.

– Вы были в церкви? – спросила она.

– Да. И все ждал, что вы обернетесь, заметите меня.

Настя виновато улыбнулась.

– Я думала о другом, – сказала она, сжав тонкие, всегда подвижные крылья ноздрей. – Сегодня ровно три года, как я схоронила родителей. Нынче Юлия Егоровна впервые оставила меня здесь одну.

Она говорила просто, без того притворства, на которое охочи люди, знающие, что на них смотрят жалостливыми глазами.

– Я слышал об их смерти. – Пастухов вкладывал в каждое слово большую силу сочувствия. – Это ужасно...

– Да, они отравились, – горестно повторила девушка. – После голодной зимы отравились рыбой. Могли жить, а умерли!..

Они молча пошли к выходу, навстречу солнечной пряже, растянутой над землей. Настенька шла немного впереди.

– Верите ли вы в судьбу, Настенька? – спросил вдруг Пастухов и, не дожидаясь ее ответа, сказал: – Я верю! Верю, что на земле всегда есть кто-то, предназначенный тебе, только тебе, и счастье зависит от того, встретишься ли ты с ним, сойдешься ли коротко. – Говоря, он поглядывал сбоку на пылающую, пронизанную солнцем мочку Настенькиного уха, на крохотные кольца шелковистых волос на ее затылке. – И какое счастье найти его, почувствовать, что ты для него именно и жил, был скуп сердцем, одинок...

Они шли уже по широкой аллее, по обе стороны которой высились тополя и шелестела широкими стеблями трава. Настенька остановилась и посмотрела на Пастухова доверчиво. Но он запнулся, неожиданно заметив тощую фигуру Тироля, с холодным любопытством разглядывавшего архитектуру церкви. Пастухов вспомнил вдруг Изыльметьева и смутился под взглядом Насти. А тут еще Тироль! И мичман, дернув куций козырек фуражки, продолжал без всякой связи с предыдущим:

– Наш капитан, Иван Николаевич Изыльметьев, замечательный человек. Да... Я уверен, что вы полюбите его... Я не знаю близко ни Ивана Николаевича, ни его семью, но верю, что он способен любить только раз в жизни. Конечно, разлука, долгая разлука – это нелегко... Но нужно быть мужественным, научиться переносить лишения и даже большое горе...

Зачем он говорит ей о мужестве? Сиротство Насти, злочлечения «Авроры», капитан, которого он посетил утром в лазарете, конфузясь под его внимательным, но тяжелым из-за болезни взглядом, – все это представлялось мичману связанным каким-то внутренним единством, может быть, потому, что все это близко коснулось его памятливого и отзывчивого сердца. И ему захотелось сказать Насте слова еще более теплые, ласковые, взять ее руку и смотреть сквозь прозрачную розовую ладонь на солнце. А Настя слушала Пастухова и чувствовала нечто более значительное, душевное, спрятанное за словами.

– У вас на «Авроре» все такие... хорошие?

Пастухов уже справился с минутной растерянностью и заговорил рассудительно:

– У нас еще довольно бессмысленной жестокости и равнодушия. С людьми нужно пожить, чтобы узнать и судить о них верно. – Он уловил не то смущение, не то испуг в глазах девушки. – Но много есть прекрасных людей и не только среди образованного круга. Есть матросы, которых я полюбил за время похода, как братьев. Как они переносили лишения, Настенька, как умирали!..

Вспомнился лазарет, темное, иссохшее тело Цыганка, шепчущего: «Будущее лучиной не осветишь...»

– Вы не были за Уралом, Настенька?

– Нет. Даже в Сибири не была. Я даже вон за теми горелыми сопками, – она показала на сверкающие в снежной оправе громады, – никогда не была...

– У вас все впереди! – убежденно воскликнул Пастухов. – Вы еще все увидите, все!

Пастухов говорил так решительно, будто от него одного зависело все, что ждало Настю впереди.

– Здесь многие не бывали в России. Живут и умирают на Камчатке.

– А вы побываете, – упорствовал Пастухов. – Мне даже странно, что у вас говорят о России как о другой, заморской земле. А разве Камчатка не Россия?

– Тут что? Камчатка... – снисходительно рассмеялась Настенька. – А Россия – это Москва, Санкт-Петербург!

Пастухов и Настя шли наклонной тропой в сторону залива, мимо покосившихся изгородей, серых калиток и низких крыш, напоминавших соломенные стрехи украинских хат. Пастухов вдыхал всей грудью пьянящий воздух долины, видел светлый узор берез на склонах гор, чувствовал рядом Настеньку и с необыкновенной ясностью ощущал себя именно в России, на Русской земле, распростертой от хмурой Балтики до Тихого океана.

– Камчатка, – пошутил Пастухов, – это имя вашей земли, а отчество ее – Россия. Верно? Здесь все родное, близкое. Когда «Аврора» вошла в эту бухту, у меня сердце колотилось так, как бывает только при возвращении на родину. Славные березки, хорошие, близкие люди, птицы поют, как только и могут петь у нас, и дышится легко, как дома. Уж я знаю, – важно сказал мичман, – бывал и в Америке и на Сандвичевых островах...

Вскоре они расстались. Пастухов неловким движением взял ее руку, наклонился и поцеловал. Вырвав руку, Настя сбежала с пригорка, обернулась и приветливо помахала ему платком.

III

Зарудный поеживался от прохлады. Летние рассветы на Камчатке бывают холодны, вся земля покрывается студеной росой, горы и доли затягиваются туманным пологом, туман сползает медленно по горным кряжам, рвется, виснет клочьями на деревьях и долго хоронится в кустарнике. В конце августа на землю падают первые заморозки.

Анатолий Иванович ехал на низкорослой якутской лошадке. Косматая челка почти закрывала ей глаза, тяжелая грива и длинный хвост придавали дикий, первобытный вид.

Позади Зарудного трясся на таком же коне Андронников, сердито посапывая и извергая время от времени замысловатые ругательства. Лошади – редкость на Камчатке. Летом путешествовали обычно пешком или в лодках по реке Камчатке и ее узким притокам.

В сумке титулярного советника лежали копии воззвания Завойко к населению полуострова, переписанные ровной писарской строкой.

Всадники надолго скрывались в высоких зарослях сладкой травы и тяжелого шеламайника, только покачивание стеблей и громкое ворчание землемера выдавало присутствие людей. Из зарослей они выезжали на луга, на пестрые, окропленные росой поляны. Крупные ирисы, восковые лютики, герань покрывали землю сплошным цветастым ковром. Только что пробудившись от сна, они покачивались под тяжестью наполнявших их хрустальных капель.

Переезжали ручьи, горячие источники, над которыми клубился пар и сливался с подвижным утренним туманом. Андронников ожесточенно тербил густую с проседью бороду и ругал торопившегося Зарудного. Особенно ярился он, когда на лицо падали холодные капли с потревоженного кустарника и стекали за воротник.

– Черт меня дернул отправиться в такую рань! – ворчал землемер. Нас, батенька мой, наружным теперь не отогреешь. Мне змия огненного подавай, не то и вовсе отсырею...

Но вот первые лучи солнца пронизали туман и вспыхнули на сочной листве.

– Наконец-то! Соизволили пробудиться, ваша светлость! – пробасил Андронников, приветствуя рукою солнце. – А я-то уж думаю: чего нынче вы нам своей довольной рожки не кажете?! Неужто и небесные светила от нас отвернулись? Как насчет горячительного, Анатолий Иванович? – крикнул он в сгорбленную спину Зарудного, на которой лежал штуцер.

– Обойдетесь мухомором, Иван Архипович! Вы, кажется, большой знаток по этой части? – ответил Зарудный, не оборачиваясь.

– Мухомором? – Андронников выпрямился в седле. – Нет, пардон, батенька! Мне целовальника-плута подавай, не то таких чудес натворю, что не сдобровать ни вам, ни вашему скареду губернатору. – Он грозно надул щеки, сгреб в кулак бороду и сказал, скрывая шутку за грозностью тона: – Англичанин вас пушкой возьмет, а я лес зажгу – все лето полыхать будет...

В землемере еще играл вчерашний хмель. Он долго чертыхался, морща крохотный нос. Но Зарудный, отдавшись своим мыслям, не отвечал.

– Молчите, голубчик? – наседали землемер. – Мрачны, как демон ночи. Неужто некая прекрасная незнакомка, этакая простоволосая Хлоя, прогнала вас?

– Вы не ошиблись, я отвергнут, – ответил Зарудный шутливо, в тон.

– Несчастный! – воскликнул Андронников. – Зачем же понадобился вам я?

– Якуты говорят: путешествие любит спутников.

– Ишь ты, якуты, а изрекают что Вольтер!

– А еще они говорят, – усмехнулся Зарудный, – молчаливый всегда слывет умным.

Андронников разразился темпераментной проповедью о варварских народах, которые человечество на собственный позор и несчастье хочет извлечь из «пещер и дебрей» в цивилизованный, просвещенный мир; о том, что наступит час, когда «систематический англичанин» и «пивообильный пруссак», убоявшись за свои очаги и соблазнив на ратные подвиги «забывчивого француза», положат предел всяческому вольнодумству; наконец, о том, что в этом предприятии означенные народы встретят полную поддержку всемиловитейшего самодержца, поелику он «не то чтобы совсем русский, однако ж и не полный немец».

Подобную речь Андронников не решился бы произнести ни в чьем другом обществе.

Анатолий Иванович слушал землемера, но перед его глазами все время стояла Маша Лыткина. Нет, Маша не отдаляла его от себя. Она по-прежнему радостно встречала его на вечерах у Завойко, в порту или на заросших травами улицах Петропавловска. С прежней жадностью она слушала его рассказы о Камчатке, о жизни охотников, о любопытных повадках морских животных. В синих глазах Маши можно было прочесть то же чувство благодарности

и восхищения, которыми они загорелись в тот памятный вечер, когда Зарудный рассказал ей о счастливой примете, связанной с маленькой серой птичкой.

В Зарудном Маша нашла друга и единомышленника. Он понимал ее тоску по осмысленной, деятельной жизни, находил такую жизнь единственно нормальной и естественной. Зарудный рассказывал ей о жизни в Сибири, об учителе, находил для нее в своей библиотеке разрозненные номера журналов, – покажи он их ей несколько лет назад, Маша нашла бы их скучными, а теперь они заставляли ее, несмотря на протесты матери, просиживать ночи напролет у коптящей плошки. Ни отец, ни мать не замечали, как Маша, взрослея, начинала терзаться вопросами, до которых совсем недавно ей не было никакого дела.

С приходом «Авроры» Зарудному показалось, что Маша относится к нему сдержаннее, скупится на встречи и наивные, простодушные восторги. Зарудный не понимал еще, что это была ревность, – он не разрешал себе и думать о любви к Маше. А между тем именно ревность, глухая, встающая с самого дна сердца, но еще не вполне осознанная, тревожила Зарудного. Он мрачнел, становился молчаливее, нелюдимее, отталкивая от себя Машу и усугубляя тем самым собственные подозрения.

Он не подумал о том, что с появлением «Авроры» в жизнь Маши вошло что-то новое, значительное, на время поглотившее ее. Она проводила долгие часы с отцом, наблюдая непривычную суету и беспорядок, слушая рассказы его коллег и фрегатских офицеров. Вечерами, при свече или плошке, заправленной тюленьим жиром, читала книги, добытые отцом из фрегатской библиотеки. На вечерах внимание Маши отвлекали молодые офицеры, много повидавшие за время плавания.

В центре кружка молодежи всегда оказывался Дмитрий Максудов в мундире нараспашку. Он пел много, охотно, по первой просьбе и без всяких просьб. Вскоре все забыли о бирюке Зарудном, о его гитаре, покрывавшейся пылью в избе у Култушного озера. Только Юлия Егоровна изредка, улучив минуту, говорила ему: «Спели бы и вы, Анатолий Иванович, давно мы вас не слышали». Но Зарудный еще больше дичился и забирался в какой-нибудь укромный уголок гостиной. Оттуда он наблюдал за танцующей Машей – а с ней чаще других танцевал Александр Максудов – и за общим весельем.

Накануне отъезда у Маши произошла размолвка с Зарудным. Найдя его нахохлившимся, Маша спросила:

– Отчего вы нынче злы, Анатолий Иванович?

Зарудный промолчал, сморщив смуглый лоб.

– Вам не идет быть злым, – настаивала она. – Вы становитесь некрасивым.

– Я некрасив в любой позиции, – отрезал Зарудный. – Неужто трудно привыкнуть к этому?

Ямочки на щеках Маши обиженно сжались. Взяв Зарудного за руку, она сказала:

– Не сердитесь на меня. Никогда не сердитесь!

Глаза Маши светились таким участием и грустью, что Зарудный почувствовал себя неловко.

– Завтра на рассвете, – ответил он, словно оправдываясь, – я уезжаю в Коряки, Пушино, Милково и другие селения с воззванием губернатора. Я очень опасаясь, что за время моего путешествия тут появятся английские корабли и все свершится без моего участия...

Слова Зарудного звучали искренней горечью. Маша задумалась, не зная, чем помочь его горю.

– Возьмите меня с собой! – прошептала она вдруг, оглядываясь и крепко сжимая его руку.

– Это невозможно.

– Почему?

– Вы знаете, как здесь отнесутся к такому поступку.

– Я давно хочу посмотреть Камчатку. Отец обещал взять меня с собой в первую же поездку за лекарственными травами. Но когда это еще будет! Маша наклонилась к нему и шепнула: – Хотите, я убегу из дому?

– У меня уже есть спутник, – ответил Зарудный. – Андронников.

Маша, огорченно посмотрев на Зарудного, потом на землемера, сидевшего в обнимку с Вильчковским, задумалась, как бы сопоставляя живописного, веселого старика и настороженного, замкнутого Зарудного.

Пальцы Маши, державшие руку Зарудного, нащупали толстое кольцо. Маша знала тайну этого железного, оправленного в золото кольца. Братья Бестужевы, поселившиеся после каторги в Селенгинске, выковали кольца и браслеты из тяжелых оков, надетых на декабристов еще в Петербурге; каким-то чудом им удалось долгие годы хранить цепи, не сломившие их мужества и прекрасной веры в будущее России. Как символы братства и непобежденного свободомыслия, эти простые украшения посылались друзьям, узникам, томившимся в селениях Западной Сибири, родным и близким. Когда Зарудный уезжал из Ялуторовска в Иркутск, Якушкин подарил ему массивное кольцо, обнял его за плечи и прочитал глуховатым голосом любимые строки:

...Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: «блаженство!»

И хотя он не брал с Зарудного никаких клятв, Анатолий Иванович никогда не снимал железного кольца. В альбоме Маши Лыткиной уже красовался его неровный отпечаток вместо подписи под посланием Пушкина «Во глубине сибирских руд», вписанным туда рукою Зарудного.

Вдруг Маша потянула кольцо с пальца, торопливо приговаривая:

– Анатолий Иванович, голубчик... Ну, не упрямитесь, подарите мне кольцо... Нет, нет... не дарите, оставьте у меня до вашего возвращения. Прошу вас, очень прошу...

Зарудному нелегко было освободить руку из ласковых и упрямых пальцев Маши. Хотелось подольше ощущать их капризную власть над собой, их теплоту и неуверенную настойчивость. Это длилось несколько мгновений. Затем он отнял руку и, поправляя кольцо, сказал недовольно:

– Марья Николаевна, об одном прошу вас: все, что связано с этим сувениром, исключите, пожалуйста, из круга ваших минутных капризов. В противном случае мы не сохраним наших... – он запнулся, – нашей доброй дружбы.

Маша смотрела обиженно и удивленно на Зарудного, неуклюже поклонившегося ей и отошедшего к окну. Остаток вечера она провела в обществе Александра Максутава.

Зарудный перебирал в памяти мельчайшие подробности этого вечера. С необъяснимым чувством досады размышлял он над собственными словами и все же не сожалел о них. Маша прочно вошла в его жизнь. Она необходима ему. Но, подобно многим людям, привыкшим к одиночеству, к длительным поездкам, к молчаливым размышлениям, он мог довольствоваться и незримым присутствием Маши.

Кони шли шагом, так что добрый пешеход, пожалуй, не отстал бы от них. Да и мудро было пускать здесь лошадей рысью: то и дело на пути возникали препятствия – заросли кедрового стланика, серебристо-зеленого ольшаника, овраги, ручьи. Зарудный заметил, что он едет по чьему-то следу, – кто-то совсем недавно, может быть, еще нынешней ночью, проходил здесь, приминая траву, надламывая хрупкие ветви багульника, ссылая землю на краю оврагов.

Зарудный любил лес с его многозначительной тишиной, знакомыми шорохами, знал медвежьи тропы, ведущие сквозь заросли ольхи и путаницу цепкого кедрового стланика к реке,

к рыбным местам. И теперь следы на земле представляли для Зарудного живой интерес; склонившись к лошадиной гриве, так что конь попрыгивал ушами и испуганно косил оливковыми глазами, Зарудный рассматривал плоские следы торбасов, отпечатки матросских сапог и широких башмаков, подбитых железными гвоздями со шляпками, напоминавшими костяные наросты на боках камбалы.

– Что вы там ищете, Анатолий Иванович? – спросил его наконец Андронников.

– Мы не первые здесь с вами сегодня, – ответил Зарудный и выпрямился. – Кто-то опередил нас...

– Сам Люцифер и его свита, – усмехнулся Андронников и не успел продолжить свою мысль, как впереди раздалась не то песня, не то озорная скороговорка. Слова произносились громко, отчетливо и вместе с тем как-то торопливо, опасно.

Зарудный и Андронников остановили лошадей на опушке тонкоствольного березового леса и прислушались. Высокий мужской голос пел:

Царь ты наш русский,
Носишь мундир прусский.
Все твои министры
На руку нечисты.
Все сенаторы
Пьяницы и воры.
Флигель-адъютанты
Дураки и франты.
Сам ты в три аршина...

Голос вдруг умолк и после паузы закончил на какой-то бытовой, будничной интонации:

Эка-я ско-ти-на!..

Спутники переглянулись. Землемер подмигнул Зарудному и, тронув поводья, заметил: – Ишь ты, какие птицы завелись у нас! – Он присвистнул. – Голосистые!

Возле прямоугольной, сложенной из темных полусгнивших бревен ночлежной юрты послышался залиvistый смех, чье-то восхищенное восклицание и ворчливый женский голос.

Всадники подъехали ближе. На старых, вросших в землю бревнах сидели люди – несколько женщин, посланных из Петропавловска за лозой для изготовления фашин, и трое мужчин – Никита Кочнев, камчадал Афанасьев и Семен Удалой, отправленные на поиски строевого леса, годного для настила артиллерийских платформ.

Юрта стояла пустая, заброшенная, из дверного отверстия тянуло прохладой и сыростью.

Заметив чиновников, все вскочили со своих мест. Только матрос чуть приподнялся, поддавшись общему движению, и снова сел.

По сконфуженному виду Кочнева, по тому, как он сорвал с головы картуз и низко поклонился, стало ясно, что пел он. Люди растерялись, – они не ожидали в этот час встретить здесь чиновников.

Андронников и Зарудный спешили. Охнув и присев на затекших ногах, Андронников сказал:

– Садитесь, господа хорошие! – И обратился к Никите: – Ты, братец, раньше петуха петь задумал...

– А коли петух проспал? – смело ответил Никита.

– Смотри! – пригрозил ему землемер пухлым веснушчатый кулаком. Петух хоть криклив и драчлив, а и ему голову рубят.

– И тихой курочке рубят!

– Ах ты, шельма!

– Шельма и есть, ваше благородие, – заулыбался Никита, обрадованный таким поворотом. – Верно изволите...

– И не смей называть меня благородием! Слыхал? «Господин землемер», понимаешь? Зем-ле-мер – высокая должность. А это, – он указал на Зарудного, – господин титулярный советник! Что? Трудновато? Тогда можно просто: «господин хороший». Куда путь держите?

Никита заговорил торопливо и услужливо:

– Мы за деревом снаряжены, а бабоньки хворост резать идут. Решили привал сделать, да, видишь, изба больно темна. Сидим, дожидаемся, когда солнышко спустится к нам с горелой сопки.

Зарудный с удовольствием разглядывал молчаливого матроса и сидевшую с ним темно-волосую женщину. Матрос не проронил ни слова, но во всей его фигуре было столько молодой силы и удалства, рябоватое лицо так живо отражало происходящее, что казалось – он и молчит не без умысла, давая понять кому-то, что не стоит беспокоиться по мелочам, настоящего начальника и без слов узнаешь, а эти, мол, пришли и уйдут, и бог с ними, а тревожиться нет нужды...

Удалого обескураживало отношение Харитины к его ухаживаниям. Еще в порту на плацу, заметив ее, Удалой проникся к девушке теплым жалостливым чувством. Обыватели разошлись с плаца, и Семен потерял Харитину из виду. В тот день он не нашел ее ни у церкви, ни на склонах Николки.

Встретил он ее назавтра неподалеку от батареи, строившейся у основания галечно-песчаной кошки. Батарея эта, тогда же прозванная Кошечной, а в официальных приказах Завойко – номер два, должна была принять большое количество пушек. Тут не было естественных прикрытий, и батарея требовала множества фашинов и земли.

Харитина стояла в яме, босая, и сильными движениями бросала землю в плетеную корзину. Яма находилась у подножья холма и предназначалась под пороховой погреб батареи.

Остановившись над ямой, Удалой откровенно любовался фигурой девушки, ладно и уверенно стоявшей на земле. Даже широкие белые пальцы ног, утопавшие в красноватом песке, были, на взгляд Удалого, по-особому хороши.

Почувствовав на себе взгляд, Харитина подняла голову. Оттого, что матрос стоял выше Харитины, он показался ей исполином со смешным и нелепым из-за лихо торчащих усов лицом. Воткнув лопату в песок и опершись на нее руками, Харитина бросила вызывающе.

– Чего уставился? Эка невидаль!

– Уж больно хороша-а-а!

Несколько матросов с «Авроры» и женщины, работавшие вокруг, прислушивались к их разговору, и Семену неудобно было отступать. Он уселся на краю ямы, так что улыбающееся лицо оказалось на уровне сердитых глаз Харитины.

– Матрос первой статьи, бомбардир Семен Удалой! – отрапортовал он.

– Видать, что удалой! – Девушка с интересом рассматривала матроса и неожиданно расмеялась. – Рябой черт!

Набивая трубку, Удалой добродушно соглашался с Харитиной:

– Да разве ж я допустил бы себя до такого увечья, кабы знал, что встречу здесь такую красу? Оделся бы я по парадной форме, а голландку эту, – Семен рванул на себе рабочую рубаху из парусины, – постелил бы тебе под белые ножки. Топчи, пльви над землей...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.